Но если человеку, особенно молодому, не удается стать **мастером своего дела**, приходит разочарование, неверие в свои силы. А ему, может, в другом месте, на другой работе надо счастья попытать.

Был у меня такой ученик. Он и сейчас в нашем цехе работает. Но, по-моему, слесарь из него никогда не получится. Слишком неразворотлив, медлителен, руки, как говорится, не из того места выросли. Жаль парня: старательный, трудолюбивый. Но ведь слона по деревьям лазать не научишь. Где-нибудь на другой работе он в десять раз больше принес бы пользы. Да вот вбил человек себе в голову: хочу быть слесарем. Или ему вбили. Какая разница! Только никак не решится другое дело поискать...

Мне часто приходится встречаться со школьниками. Убеждаюсь: смутно представляют себе, что такое токарь, слесарь, фрезеровщик. Имеют лишь общие понятия.

Понимаете, у каждого человека есть прилежание, склонность к определенному виду труда, у каждого свои интересы. Один хочет быть певцом, другой — слесарем, третий — грузчиком. Кто-то хочет ничего не делать — есть и такие.

Я не делаю открытия, но приходится повторять и повторять: нужны центры или комбинаты трудовой подготовки и профессиональной ориентации. Сейчас у нас в Бресте создан подобный комбинат, где будут готовить школьников по двенадцати профессиям. Однако в этих комбинатах нужны не только специалисты-мастера, но и психологи, медики, педагоги, которые могли бы дать квалифицированный совет молодому человеку, помочь ему выбрать профессию, разобраться в своем призвании.

Наш городской совет наставников объединяет сотни замечательных людей — таких, как мой напарник Николай Мизевич, слесарь нашего цеха Дмитрий Николаевич Практика и многие другие. У Дмитрия Николаевича, например, сейчас пятеро подопечных. Это не только ученики. Это и ребята, сдавшие уже экзамен на квалификационный разряд, работающие, что называется, самостоятельно. Но в том-то и дело, что нуждаются они еще в опеке наставника, требуется им крепкая и дружеская рука, на которую можно опереться в сложной ситуации.

Совет устраивает встречи школьников с кадровыми рабочими, экскурсии на заводы и фабрики города, координирует наставническое движение на различных предприятиях. На нашем заводе, например, под руководством наставников, при их непосредственном участии организуются праздники первой получки, посвящение в рабочий класс, дни совершеннолетия, торжественные проводы в армию. В канун съезда мы вручили в нашем заводском музее комсомольские билеты школьникам. Показали первую продукцию, выпущенную десять лет назад: маленький, невзрачный ящик — фотосчитывающий механизм. Потом повели ребят в цех испытания готовой продукции — они чуть не заблудились среди шкафов и устройств одной ЭВМ. Казалось бы, десять лет заводу — велика ли история? Что можно рассказать старшеклассникам увлекательного? А если копнуть хорошенько, то выясняется, что наш Брестский электромеханический завод расположен на месте бывшего третьего форта, так называемой первой линии обороны: сто лет назад, когда начали укреплять Брестскую крепость, выстроили на расстоянии трех километров от нее кольцевую линию фортов. В 1941 году третий форт был разрушен фашистами до основания. Свыше тысячи военнопленных, захваченных здесь, расстреляли. В прошлом году при прокладке коммуникаций на территории завода обнаружили останки шести погибших воинов. Вот какая история у нашего молодого завода! И надо, чтоб молодые об этом никогда не забывали.

Я немножко увлекся, вообще же хочу заметить, что всякая массовая работа, экскурсии и беседы — это лишь самое начало воспитания молодого рабочего. Главное и основное — индивидуальное повседневное шефство наставника над подростком. И если с массовыми мероприятиями у нас все обстоит благополучно, научились мы проводить и слеты, и праздники, и посвящения, то индивидуальное шефство порой дает пробуксовку. В погоне за массовостью, за расширением движения наставничества порой поручаем воспитание молодых людям случайным, не обладающим педагогическим даром. Шутка ли, школьного учителя пять лет специально в институте готовят к его будущей деятельности, а у нас бывает «рабочего педагога» просто назначают в административном порядке: план выполняешь, квалификация высокая, дисциплина хорошая, значит, будешь наставником.

Нужно искать, подбирать людей опытных, достигших вершин профессионального мастерства и в то же время чутко понимающих все тревоги, волнения, душевную неустроенность иного подростка, который только ступил на рабочую дорогу.

На одном из моих недавних выступлений в школе какая-то девчушка из девятого класса спросила:

— Борис Борисович, о чем больше всего говорили на съезде?

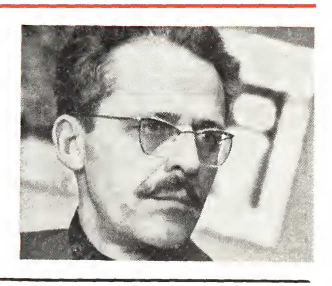
— О вас,— ответил я.

— Как это о нас? — не поняли школьники.

Тогда я припомнил каждый день работы съезда, все выступления делегатов. Как ни считай, выходило, что главным предметом разговора были вот эти самые ребятишки: партийный съезд наметил пути развития и дальнейшего подъема экономики, культуры, науки, показал перспективы роста благосостояния, расцвета нашего общества. А будущее страны — это молодежь.

Рассказ Б. ЮЗЕФОВИЧА
записал М. ГРИГОРЬЕВ

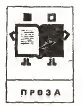
Борис
ВАСИЛЬЕВ



ВЕТЕРАН

РАССКАЗ

Рисунки
Е. ШУКАЕВА.



— Алевтина Ивановна, что же это вы свои факты скрываете? Нехорошо!

Старший бухгалтер отдела сбыта Алевтина Ивановна Коникова — пятидесятилетняя, в меру полненькая и еще не утратившая инстинктивного желания нравиться,— удивленно смотрела на секретаря комсомольской организации фабрики. Секретарь был юношески самоуверен, горласт и глядел с победоносным торжеством.

— Я ничего не скрыла,— начала она, лихорадочно припоминая все анкеты, когда-либо заполненные ею.— Я всегда...

— Да вы же, оказывается, ветеран!

Алевтина Ивановна неудержимо начала краснеть. Краснела она по-девичьи, заливая краской и лицо и шею, и сердилась при этом, но сейчас улыбалась мучительно заискивающей улыбкой. И встала:

— Ну что вы, какой же я...

— Знаем, знаем, факты проверены!— прокричал комсорг, наслаждаясь собственной осведомленностью.— Скромность, конечно, украшает, но в год, когда вся наша страна...

Комсорга несло, сотрудницы перешептывались: Алевтина Ивановна чувствовала их взгляды, смущалась еще больше, что-то бормотала, виновато оправдываясь, что она была не на фронте.

— Ну, зачем же... Я же не на передовой. Я же...

— Вы ветеран! — сияя искренней радостью, твердо перебил комсорг.— Ну, намучился я, пока вскрыл... У нас на фабрике при наличии поголовного большинства женщин вы, Алевтина Ивановна, клад! Завтра выступаете.

— Завтра? — перепугалась Алевтина Ивановна.— Как завтра? Почему завтра?

— Мероприятие завтра в семь во Дворце культуры. Уже объявление пишут: «Воспоминания о войне». Пока!

Комсорг ушел, Алевтина Ивановна опустилась на стул и заплакала. Сотрудницы всполошились, побежали за водой, валерьянкой и главбухом. И главбух пришел раньше, чем притащили валерьянку. Он тоже был женщиной, этот главбух в строгих очках, ему не требовались ни факты, ни логика, и одновременный рассказ всех присутствующих позволил принять единственно правильное решение:

— Идите домой, Алевтина Ивановна.

— Как же...— выпив наконец-таки доставленную валерьянку, всхлипнула Коникова.— Отчет ведь.

— И завтра тоже можете не приходить: я договорюсь с дирекцией. Успокойтесь и подготовьтесь: у вас ответственное выступление.

И Алевтина Ивановна пошла домой. Впрочем, не сразу домой, а сначала в магазин, потому что у нее была семья, которую надо кормить. И, стоя в привычной очереди, занимаясь привычными делами, она как-то сама собой успокоилась и пришла домой хоть и взволнованной, но без того страха, который вдруг обрушился на нее при известии, что она ветеран Великой Отечественной войны и что завтра ей предстоит выступать в самом большом зале Дворца культуры.

Она готовила обед, кормила прибежавшую из школы младшую дочь, слушала ее новости, даже что-то отвечала ей, а сама с необычным упорством думала об одном. О том, как завтра выйдет на залитую ослепительным светом сцену, на которой доселе никогда не была, а видела только заезжих артистов, президиум в дни торжеств да участников местной самодеятельности. Думала о том мгновении, когда окажется перед затихшим залом, наполненным ткачихами, которые много лет знали ее и которых знала она. И этот знакомый зал будет напряженно ждать, что же она скажет, будет смотреть на нее, сдерживая дыхание, будет видеть в ней уже не старшего бухгалтера Алевтину Ивановну Коникову, а полномочного представителя тех, кто победил, и тех, кто не увидел победы. И этот момент появления перед людскими глазами занимал ее сейчас куда больше того, о чем нужно было бы подумать и к чему следовало серьезно подготовиться: что же она скажет.

Правда, тут Алевтина Ивановна немножко успокаивала сама себя. Она очень верила собственному мужу — человеку серьезному, непьющему, прошедшему фронт, трижды раненному и все-таки взявшему Берлин. Он кропотливо собирал библиотечку военных мемуаров, читал только их, а художественную литературу считал выдумкой, не стоящей внимания. И Алевтина Ивановна твердо верила: уж он-то знает, как и о чем следует выступить, и напишет все, что полагается.

Но сегодня он что-то задерживался, ее Петр Николаевич. Алевтина Ивановна переделала все домашние дела, отправила дочку погулять, дождалась, когда она вернется, выслушала очередные секреты и усадила за уроки, а мужа все не было. Она мыкалась по квартире, пыталась написать письмо сыну, но дальше слов: «Здравствуй, дорогой сыночек!» — так ничего и не написала. И снова бродила, то вдруг хватаясь за очередное женское занятие, то вновь бросая его.

Следует сказать, что Алевтина Ивановна твердо считала себя очень счастливой женщиной. Настолько счастливой, что подчас ужасалась, оценивая размеры собственного женского счастья и не ощущая за собой ровно ничего необыкновенного: ни красоты, ни утонченного обаяния, ни больших знаний, ни каких бы то ни было талантов. Порой ей становилось отчаянно страшно за свое счастье, но то был добрый страх: он не пугал, а лишь как бы увеличивал цену того, что у нее было. А была у нее дружная семья, любящий муж, хорошие дети, работа и уважение окружающих. И она всю жизнь старалась изо всех сил и дома, в семье, и на работе. Старалась оправдать и эту любовь, и эту дружбу, и это уважение. И однажды, допустив ошибку в какой-то особо важной бумаге, терзалась так, что чуть не угодила в больницу. И люди давно привыкли и к ее старательности и к ее безотказности.

— Бригаду в колхоз? Поручите Кониковой.

Коникова ехала без всяких разговоров, и никто не сомневался, что порученные ей девчонки-ткачихи, оторванные от привычного труда на очередной картофельный аврал, сделают все точно и в срок. Сделают не потому, что Алевтина Ивановна проймет их юное легкомыслие какими-то особыми словами, а потому, что сама не уйдет с поля, пока урок не будет выполнен. Дотемна, так дотемна, до ночи, так до ночи.

— Поручите Кониковой. Коникова не подведет.

Коникова никогда не подводила, а вот завтра могла подвести. Она чувствовала, что могла, не знала, что следует предпринять во избежание этого позора, и все сегодня валилось у нее из рук. И ждала она своего Петра Николаевича, как спасения.

Петр Николаевич пришел поздно: дочь уже спала, а по телевизору кончились передачи. Пришел усталый и хмурый, долго мылся в ванной, громко и сердито фыркая. Это было особое, его фырканье, и Алевтина Ивановна знала, что расспрашивать о причинах плохого настроения, а тем паче высказывать какие-либо свои неприятности не следует. Следует ждать, когда сам заговорит: мужчина был с норовом.

Заговорил Петр Николаевич, закурив после ужина. Курил он только на кухне, обязательно открывая форточку: берег некурящих. А в этот вечер про форточку забыл, и Алевтина Ивановна открыла ее сама.

— Видишь, до чего довели? — с укором сказал он.— А все — главный. Я ему говорю, что обрывов не избежать: станки изношены, люфты уж никакими прокладками не выберешь. Я сегодня полторы смены без обеда ковырялся, аж внутри все дрожит. Тут не только про форточку забудешь, тут дом родной не найдешь.

— Сделал? — спросила она.

Спросила нарочно: знала, что все он распрекрасно отладил, проверил и проследил, как работает. Ее Петр Николаевич был редчайшим мастером-наладчиком, надеждой руководства, «доктором», как его называли в цехах. И спрашивала она только для того, чтобы он улыбнулся и чуточку похвастался.

— Спрашиваешь!— Он действительно улыбнулся.— Дело знаем, не волнуйтесь. В лучшем виде, как говорится: не зря фабричный хлеб едим.

Теперь, когда он пришел в свое обычное дружелюбно-улыбчивое состояние, можно было рассказывать о своих заботах. И Алевтина Ивановна, волнуясь и говоря поэтому массу лишних слов, поведала о посещении комсорга и о своем предстоящем выступлении во Дворце культуры.

— Дело серьезное,— сказал муж, и Алевтина Ивановна увидела знакомую складочку меж строго сдвинутых бровей. И обрадовалась.

Складочка эта — а его лицо она знала куда лучше, чем он сам,— так вот, эта особая мужская складочка появлялась тогда, когда мастеровой человек, наладчик высочайшего класса Петр Николаевич Коников всерьез, так сказать, на полную мощность включался в иную, непрофессиональную сферу деятельности. С этой складочкой он читал мемуары советских полководцев, старательно разбираясь в стратегических планах кампаний; с этой складочкой долго и мучительно писал брошюру о наладке станков, а также свои собственные выступления, потому что тоже был ветераном и даже почетным членом одной пионерской дружины. Теперь эта складочка возникла из-за нее, и Алевтине Ивановне стало не просто тепло на душе, но и покойно.

— Вот и о тебе вспомнили,— улыбнулся он, проходя в комнату.

— Ох, Петя, не надо бы всего этого,— вздохнула она.— И чего им нас-то вспоминать, какие мы солдаты?

— Все правильно,— строго сказал муж.— На войне у каждого — свое дело, не все же из винтовок лупили.

Петр Николаевич неторопливо надел очки и прошел к заветной полке, где любовно были собраны дорогие его сердцу книги. Ласково провел ладонью по суперобложкам, подумал, припоминая. И не припомнил:

— Кто у тебя командующим-то был?

— Техник-лейтенант Фомушкин.

— Ну, какой там Фомушкин! — усмехнулся муж.— Я тебя серьезно спрашиваю, а Фомушкин твой — это, знаешь, для домашнего употребления. Ты же выступать будешь перед массами. Перед комсомолом, звонкой нашей сменой. Какое им дело до твоего техника? Тут масштаб нужен! Толбухин, точно?

Она кивнула немного расстроенно и тут же улыбнулась, чтобы скрыть это расстройство. Но Петр Николаевич на нее уже не глядел, а отбирал с полки то, что имело касательство к Четвертому Украинскому фронту.

А расстроилась Алевтина Ивановна из-за его пренебрежительного отношения к ее «командующему» технику-лейтенанту Фомушкину. Расстроилась, потому что сразу вспомнила этого Фомушкина, когда-то наглухо засыпанного в окопе и откопанного благодаря великой фронтовой случайности. После этой контузии у него непроизвольно дергалась голова и при малейшем волнении дрожали руки. Все девочки отряда знали об этом и изо всех сил старались уберечь своего «командующего» от неприятностей. Не потому, что жалели — на войне этого чувства ни у кого надолго не хватит,— а потому, что техник-лейтенант был в два раза старше любой из своих подчиненных и всегда упорно твердил одно:

— Вы, девчата, мне все говорите, все свои секреты. У меня дочке двадцать лет, и я все про вашего брата знаю. Требую не стесняться.

Но они все-таки были девчонками, стеснялись, мучились из-за этого и болели, и руки техника-лейтенанта Фомушкина дрожали все сильнее и сильнее...

— Какую основную стратегическую задачу решал 4-й Украинский фронт под командованием маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина? — опять сдвинув брови, начал муж, и Алевтина Ивановна тотчас же постаралась изгнать из своей памяти дрожащие, как у старика, руки своего командира.— Ну, первый этап войны мы отложим: ты ведь в сорок третьем на фронт пришла?

— В сорок третьем. В апреле.

— Значит, главное — второй этап,— важно сказал Петр Николаевич.— Он и вообще важнее, и ты — прямая участница. А второй этап — это интернациональная помощь порабощенным фашизмом странам. Освобождение Румынии, братской Болгарии и боевое взаимодействие с югославскими партизанами. Ты где войну закончила? В Белграде? Значит, сходится, этим и завершишь. Про освободительную миссию, поняла? Завтра проштудируешь,— он уважительно погладил стопочку отложенных книг,— тут я тебе материал подготовил. Не какая-нибудь там художественная литература: мемуары! Вот на них и опирайся.

— А про себя?

— Что про себя? — не понял Петр Николаевич.

— Про себя рассказывать велели.

— Это как белье стирать? — усмехнулся он.— Стирать они и без тебя умеют.—Но чтоб сгладить слишком уж явную насмешку, добавил серьезно: — Про себя, Аля, рассказывать нам ни к чему, это никому

не интересно. Важно в масштабе вопрос поставить. Миссию подчеркнуть важно, понимаешь?

Алевтина Ивановна покивала, соглашаясь. Она верила мужу: он и выступал часто, и знал больше, и читал книги. А сама Алевтина Ивановна, относясь к литературе с великим уважением, читала редко и мало, чаще обходясь телевизором да семейными походами в кинотеатр «Ткачиха». И времени на чтение у нее не хватало, да и потребности особой она в нем не испытывала. Книга требовала сосредоточенности и времени, а телевизор можно было смотреть, штопая дочке колготки.

Но следующий день ей дали не для отдыха и не для домашних дел, а для работы, для того, чтобы она готовилась. Это было сродни привычным поручениям, вроде картошки, родительских собраний или занятий с молодыми ткачихами в кружке художественной вышивки, которой она очень увлекалась. Да и Петр Николаевич советовал ознакомиться с мемуарами, и поэтому она, проводив мужа на работу, а дочку в школу, не стала дописывать начатое письмо служившему в армии сыну, а, разыскав чистую дочкину

тетрадь, села к столу и начала читать отложенные мужем книги.

Она читала очень старательно, стараясь понять и запомнить и выписывая для этого целые абзацы в тетрадку. Это был нелегкий труд, но она бы справилась с ним — она и не с такими трудностями справлялась,— она бы справилась, если бы не все растущее в ней несогласие с тем, о чем говорилось в книгах.

Там рассказывали о коварных замыслах противника и о хитроумных контрпланах наших штабов. О разведданных и передислокации войск, об удобстве рокадных дорог и значении танковых соединений при прорыве глубокоэшелонированной обороны противника, о транспорте и снабжении, о донесениях снизу и о докладах наверх, о политике союзников на Балканах и об использовании личного резерва Командующего фронтом в критические моменты гигантских сражений.

Это была какая-то иная, не ее война. Алевтина Ивановна вспоминала усталость, от которой тошнило во сне, вшей на мертвых и на живых, тяжкий запах переполненных братских могил, вспоминала обугленных танкистов в сгоревших танках, двадцатилетних лейтенантов с седыми прядями в аккуратных прическах, надсадный вой пикирующих бомбардировщиков и искалеченные молодые тела: мужские и женские. Изодранные осколками, пробитые пулями, исколотые штыками, изрезанные кинжалами. И еще — своего «командующего»: сорокалетнего техника-лейтенанта с дергающейся головой и дрожащими, как у старика, руками.

— Только вы не стесняйтесь, девчата, все мне говорите. Вы же тяжести таскаете и в сырости все время, в пару. Если болезни какие, не скрывайте, очень прошу. Боюсь, покалечитесь — рожать не сможете.

Алевтина Ивановна всю войну прошла бойцом банно-прачечного отряда, а попросту говоря — прачкой. Двести пар заскорузлого от крови и пота обмундирования и горы окровавленных бинтов ждали их на каждом рассвете войны. Двести пар были нормой, а бинты шли сверх всякой нормы и в первую очередь, потому что их не хватало. И с рассвета и до

темна бойцы банно-прачечного отряда гнулись над корытами и кипящими баками. В пару не видны были ни руки, ни лица, и это было хорошо, потому что заодно не видно было и слез, капавших прямо в мыльную пену, прожигая в ней дорожки до самого кипятка. И только техник-лейтенант Фомушкин знал об этих слезах. И вздыхал:

— В войну соль дорожает, а слезы дешевеют. Вот какие дела, девчата.

От кипятка и ядовитого, пронзительно вонючего мыла трескалась и уже не заживала кожа. Ее разъедало горячей пеной, и девушки всегда старались прятать от мужских глаз свои красные, распухшие, покрытые язвами руки.

А потом как-то незаметно, исподволь стали исчезать и ногти. И стирать стало не просто больно, но и страшно: а вдруг они, эти ногти, так и не вырастут никогда? И девушки очень расстраивались и плакали теперь не только от боли и усталости, но и от страха. Вернуться с фронта с лапами вместо рук: что же это за женщина без коготков? И опять Фомушкин обо всем догадался, ничего не сказал, а утром на лошади привез военврача. Она посмотрела:

— Все у вас вырастет, не бойтесь, девочки. Все хорошо будет, только бы война эта проклятая кончилась поскорее.

А этого врача — беспрерывно курившую суровую женщину — через неделю технику-лейтенанту пришлось потревожить снова: у двух девочек вдруг нарушения обнаружились. Сначала внимания не обратили, а потом то же самое еще с несколькими произошло, и тогда уж струсили по-настоящему. Без ногтей вернуться — это хоть и некрасиво, да куда ни шло: война и не такое с людьми делает. Но вернуться не женщинами, а неизвестно кем, средним родом каким-то, замуж не выйти, детей не иметь — это уж было совсем невозможно. А к тому шло.

— Баки очень тяжелые,— сказала военврач.— Нельзя вам такие тяжести поднимать, девочки милые. Себя покалечите.

— Так,— сказал Фомушкин, и руки у него задрожали.— Не стирать, пока не вернусь. Приказываю.

Залез было с докторшей на подводу, но спрыгнул. Выволок баки, достал старый наган и лично прострелил днища. Всем шести бакам. Пошвырял дырявые на подводу и отбыл.

К вечеру только вернулся. Дергался больше прежнего, но привез другие бачки. Поменьше калибром, девять штук.

Вот после этого и ходил он за девичьими согнутыми спинами и молил, как дочерей:

— Не стесняйтесь вы меня, девчата, правду говорите, ради Христа. Не прощу себе, если покалечитесь.

Алевтина Ивановна давно уже не видела строчек в лежавшей перед нею книге. Обваренные паром лица, распухшие руки да красная от крови мыльная пена, в которой отмокало поступавшее из медсанбатов обмундирование, все настойчивее, все четче и яснее возвращались из далекого далека, из того далека, что у всех поколений всегда бывает самым звонким, самым свободным и самым прекрасным, за что и называется юностью.

Прибежала из школы дочь, что-то болтала об уроках, о подружке, об этом длинном дураке Сережке, но Алевтина Ивановна, поддакивая, не слушала ее. А отправив гулять, снова села за стол, за раскрытую книгу, снова честно пыталась читать, и снова строчки поплыли перед глазами...

— Девочки, еще бинтов двадцать два мешка привезли. Это срочно, девочки: в медсанбатах перевязывать нечем,— сказала младший сержант Самойленко.

Двадцать два часа тогда за корытами и простояли, двадцать два — почти сутки. И ели тут же, среди щелока и мыла, в едком пару, сидя на грудах бинтов, ломких от крови и гноя. Ели медленно и молча, как старушки, ложки качались в руках, а жевать не было сил: глотали нежеванное. И падали на эти же бинты, теряя сознание или засыпая на десять минут, снова вставали и снова склонялись над корытами. И казалось, что нет уже никаких сил и никаких желаний: только спать, спать, спать.

Но одно желание было всегда — желание нравиться, и мечта, что когда-нибудь и для них придет оно, девичье счастье, в скрипящих сапогах, с таким знакомым, с таким привычным запахом пороха, пота и крови. Придет — они молились за это счастье, они верили в него и ждали его как награду за труд, за страх, за боль и за то еще, что, несмотря ни на что, вопреки всему на свете они оставались тем, кем были: женщинами.

Именно об этом ей особенно хотелось рассказать молодым ткачихам. Ей казалось, что эти молодые девчонки не выдерживают первых испытаний, что слишком многое прощают, слишком легко подчиняются, слишком суетятся, спешат жить, хватая и отдавая по кусочкам то, что отдают и получают целиком, торжественно и серьезно. Очень хотела рассказать, как назло всему тогда, на войне, женщины старались быть женственными, как ночами, с ног валясь, перешивали солдатские гимнастерки, как единственное зеркало — большое, правда, случайно доставшееся — от бомбежек берегли, укутывая одеялами да еще и сверху ложась; как руки от мужчин прятали, чтоб не коснулись ненароком те мужчины их распухших, шершавых, изъязвленных лап, как...

Алевтина Ивановна улыбнулась и смахнула слезу, вспомнив дружное девичье отчаяние, когда им вместо чулок выдали трикотажные офицерские кальсоны. Все было забыто перед этой чудовищной несправедливостью, перед этим официальным отрицанием их женского естества. Ревели и бунтовали, и хотели даже делегацию к самому высокому начальству посылать, да Леночка Агафонова выручила. Живая девчонка была, выдумщица и хохотушка; убило ее потом. Весной сорок пятого.

Пока они там спорили, возмущались, кричали и плакали, Лена деловито надела кальсоны, походила перед бесценным зеркалом, разглядывая себя со всех сторон, что-то подтянула, подобрала, прикинула и крикнула торжествующе:

— Рейтузики!

Тут же переделала верх, вставила резинку, снизу штрипки пришила, чтобы кальсоны, как чулки, натянуты были, лишнее вдоль всей ноги в аккуратные швы подобрала, и вышло то, что надо. Да еще и со швом, очень модным в те времена.

— Вот, девочки, глядите.— Прошлась, затянутая, как гусар.— Красота! Даже сапоги надевать не хочется. Эх, туфельки бы сейчас! Хоть самые завалящие...

— А цвет?

— А лук на что?

Выварили в луковой кожуре, надели — даже гордые связистки обзавидовались. Им, связисткам, чулочки с пояском выдавали, как положено, только этот пояс с резинками на казенном языке вещевого довольствия назывался очень уж некрасиво и неделикатно: «пояс-держатель». Армия точность любит.

Вот так они тогда колготки изобрели — эту непременную принадлежность каждой сегодняшней девчонки. Так что и радости и открытия тоже были, не только пот, кровь да слезы.

Да, были и радости. Правда, мало, не для всех, зато за других радоваться умели. От всей души. И чу-

жую радость берегли и гордились ею, как своей собственной. А может, и больше.

— Девочки, влюбилась я, кажется...— сказала самая младшая и тихая Лидочка Паньшина, когда спать вповалку укладывались.

Сразу трескотня утихла. Кто лежал — из-под одеял вынырнул, кто раздевался — раздеваться перестал: все на Лиду смотрели.

— Кажется? Или влюбилась? — строго спросила младший сержант Самойленко.

— Ой, не знаю. Ничего не знаю, девочки.

Лидочка сидела на нарах в бязевой солдатской рубахе, глядела в пространство, как в завтрашний день, и улыбалась.

— Это уж не кажется, а вполне точно,— вздохнула Лена.— Кто он?

— Лейтенант. Мост разминирует, что немцы взорвать не успели.

— Сапер, значит,— сказала Самойленко.— Ясно. Завтра чтоб здесь был. Предъявишь, а там решим. Спать! Спать без разговоров, в пять — подъем, в пять тридцать — свидание с корытами. Все!

Лейтенант был молод: мальчишеская шея по-гусиному торчала из гимнастерки. Вырвался всего на полчаса, смущался, робел и очень старался помочь. Помочь, а не понравиться.

— Годится,— сказала Лена.— Крути роман, подружка!

— Он меня в девять на берегу ждать будет,— замирая от счастья, сказала Лида.

— Никаких романов и никаких берегов,— отрезала Самойленко.— По внешнему виду замечаний не имеем, а внутренний еще надо выяснить. Приведешь на беседу.

— Ой, Тоня...

— Не Тоня, а младший сержант! — одернула Самойленко.— Беседовать буду я, комсорг и...— она подумала,— и Фомушкин, если сочтет нужным.

Лида немного поплакала, но лейтенант явился как штык. И предстал перед техником-лейтенантом Фомушкиным, младшим сержантом Самойленко и комсоргом, которую тогда звали Алей, а ныне — Алевтиной Ивановной.

Лейтенант стоял перед высокими собеседователями с полной серьезностью и готовностью отвечать. Лиду подружки увели на берег, где пугали примерами мужского коварства. Для профилактики.

— Тут такое дело,— начал Фомушкин, листая потрепанную тетрадку, чтобы не было заметно, как дрожат руки.— Тут, понимаешь, армия, у бойца ни мамы нету, ни батьки — только мы, его товарищи.

— Я понимаю,— сказал лейтенант.

— А боец — девушка,— продолжал Фомушкин.— А девушке ошибаться нельзя, она за свою ошибку всю жизнь расплачиваться будет. Вот ты — сапер?

— Сапер.

— Нельзя тебе ошибаться?

— Нельзя.

— Вот и ей тоже,— с торжеством отметил Фомушкин.— Значит, вам двоим ошибаться никак нельзя.

— Нет,— улыбнулся лейтенант.— А мы и не ошибаемся.

— Уверен? — Самойленко строго сдвинула брови.

— Уверен,— кивнул лейтенант.

— Тогда доложи, кто ты есть по мирному состоянию, где родители и как думаешь жизнь строить,— строго сказал техник-лейтенант Фомушкин.

Все доложил тогда лейтенант: и что мать — учительница в Москве, и что отец в ополчении в сорок первом погиб, и адрес домашний (его Фомушкин аккуратно в тетрадку занес), и как думал жизнь строить. А думал он завтра же подать командованию ра-

порт с просьбой разрешить ему жениться, поскольку согласие от невесты уже имелось.

— Рапорт мне покажешь,— сказал Фомушкин и протянул руку.— Ну, как говорится, поздравляю, и беги-ка ты сейчас к бойцу Лидии Паньшиной. Она тебя, паренек, поди, заждалась.

— Увольнение ей до подъема,— подобрев, объявила Самойленко.— Целуйтесь на полную катушку за всех за нас!

— Поздравляю,— сказала тогда Алевтина Ивановна.— Лидочка наша — замечательная комсомолка, вот увидите.

— Спасибо,— говорил лейтенант.— Большое спасибо.

Он вышел очень счастливым, но получил невесту не сразу, потому что красную от счастья и смущения Лидочку одевали всем отрядом.

— Юбочка сидит отлично.

— Пройдись, Лидочка.

— Стоп, стоп, стоп! Надень мои сапоги. У твоих голенища широкие: некрасиво.

— Гимнастерку надо на вытачках подобрать.

— Это зачем же?

— Чтоб грудь смотрелась.

— Это в темноте-то?

— Ну, все равно, лучше, когда она подчеркнута.

— Думаешь, он смотреть собирается?

— Не думаю, конечно, но сначала должен полюбоваться.

— Нет, я знаю, что нужно! — закричала вдруг Лена.— Знаю, знаю, дура я несчастная, что раньше не сообразила!

И достала прекрасную, как сон, шелковую комбинацию. И шла по рукам эта комбинация, и девушки нежно гладили ее и передавали дальше: невесте.

— Что ты! Что ты! — испугалась Лида.— Это же такое чудо, это же тебе самой нужно, это же взять невозможно, Леночка!

— Надевай, говорю!

— Зачем? Ну, зачем же...

— А затем, что расстегнет он тебя...

— Ни за что,— твердо сказала Лида, и все заулыбались.

— Ну, сама расстегнешься,— усмехнулась Лена.— Надевай, а то силой наденем.

— Пошла я,— сказала Лида, одетая, причесанная и придирчиво осмотренная со всех сторон.

— Иди,— сказала младший сержант Самойленко и поцеловала бойца.— Заждался твой-то: четвертую папиросу курит.

— Пошла я,— тихо повторила Лида, топчась в дверях.— Пошла.— Вдруг повернулась к ним, всплеснула руками: — Помирать буду, день этот вспомню, сестрички вы мои!..

С плачем выбежала, и все примолкли. Молча улыбались, молча слезы смахивали, молча постели стелили.

— Завтра ей до обеда — спать,— сказала Самойленко.— Значит, норму ее на всех разделим, по справедливости.

А лейтенант все-таки ошибся, и через три дня разнесло его на куски незамеченным фугасом. Лида Паньшина отвоевалась, но замуж так и не вышла: то ли сапера своего забыть не смогла, то ли другие девушки за это время подросли — помоложе и покрасивее...

Петр Николаевич на полчаса раньше с работы прибежал: волновался за нее. Заглянув в комнату:

— Проштудировала?

Алевтина Ивановна с трудом вырвалась из прошлого, из повыбитой и окровавленной юности своей, улыбнулась:

— Проштудировала.

— Планчик составила или в голове держать думаешь?

— В голове,— сказала она.— Не выскочит.

— Значит, так начнешь: «Выполняя свой священный долг, победоносная Советская Армия...»

— Нет, Петя, я не так начну,— вздохнула Алевтина Ивановна.— Я совсем по-другому начну, я уже все вспомнила.

— Да? — озадаченно переспросил он.— Ну, гляди, мать...

Пообедали. Потом Алевтина Ивановна переоделась в самое нарядное платье, что надевала три раза в год по самым великим праздникам. Завязала мужу галстук — он так и не научился завязывать его, зато ремнем, если случалось, даже во сне затянуться мог на самую последнюю дырочку,— и они торжественно, под руку пошли во Дворец культуры. Принаряженные ткачихи спешили со всех сторон: замужние — непременно с мужьями под ручку, а незамужние — стайками, и стаек тех было куда больше.

Между колонн Дворца культуры висел большой щит, на котором художник очень красиво написал, что сегодня в 19.00 ветеран Великой Отечественной войны Алевтина Ивановна Коникова поделится своими фронтовыми воспоминаниями.

— Волнуешься? — спросил муж, прижав ее локоть.

— Волнуюсь,— шепнула она.— Но ты не беспокойся.

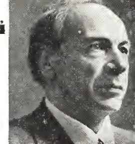
Она знала, о чем будет рассказывать. О сорокалетнем старике Фомушкине, который и по долгу и по совести считал их дочерьми; о неунывающей хохотушке Леночке Агафоновой, навеки оставшейся в югославской земле; о суровом и справедливом младшем сержанте Самойленко, вырастившей трех сирот на крохотную зарплату управдома; о Лиде Паньшиной, которой до сих пор снится разорванный на куски саперный лейтенант, и еще о многих-многих ровесницах тех, кто будет сидеть перед нею в светлом и просторном зале.

И она увидела этот зал со сцены. Огромный зал, переполненный веселыми, нарядными, красивыми девчонками. Увидела их свежие, никогда не знавшие голода и страха лица, их улыбки, наряды, сверхмодные прически. Увидела в президиуме директора и секретаря партбюро — они что-то говорили ей и долго жали руку. Увидела торжественных, со всеми орденами фронтовиков — увидела все разом, вдруг. С трудом расслышала собственную фамилию и пошла к трибуне сквозь аплодисменты, как сквозь туман. Встала в тесном трибунном загончике, погладила ладонями отполированные локтями предыдущих ораторов дубовые панели и, с ужасом, не узнавая собственного голоса и собственных мыслей, отчаянно выкрикнула в переполненный зал начало своей речи:

— Выполняя свой священный долг, победоносная Советская Армия, сломив ожесточенное сопротивление озверелого врага, вступила в порабощенную фашизмом Европу...

●

Леонид Вышеславский



ЧАСЫ ЭПОХИ

✪

Шумит над планетою ветер весенний,
все яростней этот пророческий шум...
Как много на свете надежд и свершений!
Как много, как много рождается дум!

В труде и в бою наша правда добыта.
Вчерашние нормы и догмы — на слом,
все круче и круче земная орбита,
сильней поединок меж злом и добром.

Мы в пашню бросаем добротное семя,
бегут километры далеких дорог,
с машинною скоростью думает время,
вседневное время трудов и тревог.

Чтоб жизнь подымалась мощнее и краше,
созвездий касаясь своей головой,
на крепких камнях убежденности нашей
работает дней механизм часовой.

Рабочим рукам открываются щедро,
не зная пределов, преград и границ,
небесные выси, пучины и недра,
все сущее — все! — до мельчайших частиц.

И в думах о завтрашнем дне изобильном,
в Кремле, средь проснувшейся вешней
красы
съезд партии новые дали открыл нам,
заведены снова Эпохи Часы.

Мак

Раздутый ветром, трепетный, горячий,
взлетев над речкой на пологий склон,
среди камней фонариком маячит,
и не понять: откуда взялся он!

Земную благость тонкой цветоножкой
в себя по капле силится втянуть.
По капле. По крупинке. Понемножку.
Чуть-чуть железа, кобальта чуть-чуть.

Цветок вобрал вселенские устои,
сама земля в нем стала пламенеть,
но он еще из времени построен,
оно в нем, как железо или медь.

Во времени не прорастает семя,
во времени не дышит лепесток,—
растение в себе содержит время,
как форму листьев, запах, цвет и сок.

Цветок горит, тугие камни плавя,
над ним лазурь кипит, как на огне.
И мысль мою пронзает это пламя:
не я в годах — года живут во мне.

К портрету альпинистки, которая погибла, спасая товарища

Наверно, вдохнула Вселенная
в прекрасные эти черты
всю нежность свою сокровенную,
все пламя своей красоты!

Тебе, неподвластная тлению,
на все времена довелось
остаться такой вот — весеннею,
с высокой копною волос.

Ты к лику святых не причислена,
поклоны тебе ни к чему,
но самую высшую истину
являешь ты миру всему.

Пред ним, все еще изнывающим
в раздорах, в огне и во зле,
ты гибнешь, спасая товарища,
спасая любовь на земле.

Морская даль

Гудок завода громогласно
будил оконное стекло,
и упоительно и властно
меня в морскую даль влекло.

И корабельные модели
(в них был мечты моей предел)
меня, случалось, на недели
от прочих отвлекали дел.

Всегда есть детскость
в легких всплесках
тяжелых волн и парусов,
в разлетах ленточек матросских,
в раскатах зычных голосов.

Дымится в трубке табачишко,
струится на фок-мачте флаг,
и адмиралы, как мальчишки,
о дальних грезят островах.

Над Бугом

Края благословенные... Эллада!
Над Бугом — эллинг. Он своим гудком
давно позвал к обеду. Вся бригада
сошла с лесов. И вот перед окном,
распахнутым на стройку, на завод,
две женщины сидят с журналом новых мод.
Они себе наметили подарки —
что им идет, что более к лицу...
А там, в окне, под эллинговой аркой
трепещет мотылек электросварки
и осыпает жаркую пыльцу.

Мусса
БАТЧАЕВ

ЭЛИЯ

ПОВЕСТЬ

В нашем доме поют...

На нашем дворе, на белом снегу — красный круг.

На улицах белые сугробы и невеселый январский ветер.

Солнце низкое скатилось на горы, скоро спрячется...

Я сижу спиной к дому в нашем сарае. Сарай душен, ветер сюда не заходит. Ветер стучит в оконце, бьет хлопьями снега в стекло. Тусклый луч заката светит в лицо — глаза мои сузились, веки дрожат... На стене против меня, на ржавых гвоздях, висят два седла, две пары подпруг, узда с серебряными насечками...

Постепенно уйдет из сарая конский дух, что живет пока еще в седлах, в подпругах, в крепком ремне серебряной узды, думаю я. Уйдет конский дух, выветрятся запахи пота, навоза, и сарай останется бездушен...

На стене против меня в одной связке восемь подков. Подковы новые, стальные, ярко блестят. Выкованы не в нашей кузнице — где-то на заводе. Отец их привез из Ростова, сказал, отличные подковы, военные, таких удостаивались в войну лишь копыта строевых коней...

Самое ненужное, самое лишнее сейчас на свете—эти восемь новых стальных подков, думаю я. И ещё думаю об отце, который поет с гостями...

Я любил отца, гордился им и при мысли, каким буду, когда вырасту, хотел видеть себя похожим на него во всем.

Отец был сильный. Отец уважал людей. И в словах и на деле был мужчиной. Многословием не страдал. Ему всегда удавалось найти правильные и короткие слова, чтобы сказать, как он думает. Одно его неторопливое замечание могло остановить спорящих, удивив простотой и такой ясностью, после которой нарушать тишину казалось уже неудобным.

Отец никогда не суетился. Мелочность считал позором для мужчины. Жизнь понимал. И сам был понятен и открыт.

Отец любил работать. Вечером, завершив день, он спокойно ложился отдыхать, утром спокойно просыпался, готовый к новому дню.

Он твердо стоял на земле.

Я думал, он, как кусок горы — скала крепкая, неизменная, которую ни дождь, ни солнце — ничто не может поколебать, преобразить, сплющить, только разбить ее можно, расколоть, разрушить, если найдется такая большая сила...

Отец не был суров. Мужество в нем уживалось с добротой. На

Рисунки
О. КОКИНА.

камень и дерево, на птиц, на горы и солнце отец смотрел добрыми глазами. Ко всему был внимателен. Думаю, он прекрасно чувствовал место, право и обязанности человека на земле... Уверенность отца, его спокойствие и могущество были уверенностью, спокойствием, могуществом мудрого, ответственного за все правителя, владыки, повелителя. Когда отец глядел в ночное небо, мне казалось, он заботится и о нем, как о крыше нашего дома, и перед тем, как лечь, передает звездам свою волю: светить завтра тоже... Отец умел, ни над чем не возвышаясь, царить над всем. И я поклонялся отцу...

Сам отец был естественным на земле, как сильное, зеленое дерево, и я, его сын, был естествен, как ветка на этом дереве. Мир был прост. Я не боялся ветра — шумел под ним, не боялся дождя — мок под ним, а когда выглядывало солнце, сбрасывал с листьев капли воды, грелся...

Я любил отца, мне было хорошо...

Сегодня я сижу в старом сарае, слушаю свист ветра, смотрю на связку отличных новеньких подков и думаю об отце.

Я думаю, где взять отцу теперь силы встретить, прожить и проводить каждый день так, чтобы спалось, как раньше, спокойно, безмятежно...

Я думаю, как может отец царить теперь над миром: над камнем и деревом, над звездным небом, над птицей...

И надо мной тоже...

Не приходилось мне слышать об отце своем худого слова ни разу. Детям об отцах и дедах плохого не говорят. Просто молчат. А если есть за что похвалить, всегда найдут доброе слово. Молчать о хорошем человеке — значит совершать тяжкий грех. Сын растет лучше, если знает, что отец достоин хвалы. Так принято думать, наверное, во всех аулах, не только в нашем.

В каждом ауле есть старики, родившиеся раньше всех и поэтому помнящие все обо всех.

— А чей ты сын, не скажешь ли, сынок? — поинтересуется старик, увидев мальчишку.— Магомеда, говоришь? Какого Магомеда? Бо-бо-бо! Постой, постой... И как же я сам не догадался, ты же мельника сын... Молодец ты, прекрасно знаю твоего отца. Хорошо мелет его мельница, лучше всех в долине... хорошо. Ну иди, иди, пусть долгой будет жизнь твоя...

— Так, значит, Ахмата покойного ты наследник?! — вспомнит старик при встрече с другим.— Пусть земля ему пухом будет. Отважный человек был, сильный... Все знают, как он в лесу с медведем встретился, без ружья, только нож имел... Одолел!!! Видел я тушу этого зверя, глазам не верилось, и смотреть было страшно... Не каждому пришлось видеть на своем веку такую громадину... Пусть аллах твой век длиннее отцовского сделает, а в остальном да повторишь жизнь отца своего...

Если же все-таки не найдут, какое доброе слово сказать об отце, станут вспоминать дедов, прадедов, которые хорошими людьми были:

— Да-а! Знавал я ваших. Известный род у вас, очень известный, да не кончится он во веки веков... Много славных людей твою фамилию носили, джигит... Аллах велит, ты тоже в толпе безвестных не затеряешься...

О моем отце в таких случаях прежде всего говорили одно: великолепный наездник был, душу коня лучше всех понимать умел...

— Отца твоего еще вот таким знавал,— не один раз говорили мне наши старики, показывая ладонью на какой-нибудь метр от земли.— Мальчишкой помню, потом безусым помню. К хребту лошадиному прилипал, точно кожа к костям,— не оторвешь. Все его знали. Сердце пело, когда он свои штучки на коне проделывал: в бешеной скачке то ногами на спину коню встанет и стоит, то под брюхо ему нырнет, опять шайтаном вынырнет и снова на нем...

Такой славе отца могли завидовать, по-моему, даже самые тщеславные, честолюбивые из наших аульчан... Потому что хороший наездник плохим человеком быть не может. Слабым, ничтожным людям власть над конем не дана. У человека к коню особая древняя любовь. Можно победить льва — воспитать в нем смирение и покорность, можно укротить хищный нрав волка — вырастить его тихим, послушным, приучить к себе, внушить мысль о величии нашем и праве нашего господства над живым и мертвым миром, можно приручить гордую, своевольную птицу — орла... Но только приручив коня, почувствовал, наверное, человек себя крылатым, только оседлав коня, дикого и быстрого, испытал человек торжество, радостный праздник духа своего. Только после этого, может быть, поверил в природное свое всемогущество человек.

Конь — зеркало слабостей и сил человека. Отношение коня — самая верная цена хозяину. Конь никогда не полюбит, не будет верен, предан ни трусу, ни завистнику, ни скупцу...

Отец с детства был неразлучен с конем. Мальчишкой пас табуны, приучал к седлу необъезженных скакунов, до войны много лет обучал призывников джигитовке, а войну провоевал кавалеристом... С удивлением однажды я заметил, что в нашем семейном альбоме нет фотографии отца без коня... То босой мальчик, то стройный высокий юноша, то мужественный воин в тщательно выглаженной гимнастерке, перехваченной блестящей роскошной портупеей, с шашкой — всюду отец был с конем, или на нем, или рядом с ним, гладил его по шее, по крупу, расчесывал гриву, подковывал, кормил зерном с ладоней... Чем больше я взрослел, тем больше уважал отца, все в нем боготворил. Но ни в чем, понял я, он не казался так велик и недосягаем, как в любви к лошадям. Я думал много лет, что эта любовь его навсегда.

Сегодня я сижу в глухом сарае и думаю: отец предал ее, эту любовь. Изменил тому, что было много лет в нем неизменно. Тому, что должно было остаться неизменным до конца...

Я сижу в сарае, смотрю на закат и вижу отца.

Отец стоит, твердо расставив ноги, посреди двора...

Вижу окаменевшее лицо его. Вижу в руке его нож... Вижу в ногах его распростертую на соломенной подстилке лошадь.

Красивую молодую лошадь, которой не суждено было состариться, которой суждено было стать последней лошадью отца, последней его любовью...

Отец назвал ее Элия́. Элия по-карачаевски значит молния, быстрая, пронзительная, неуловимая. Но это не начало истории, которую я взялся рассказать. Я не знаю, где самое главное начало этой

истории. Может быть, начало — переселение наше с одного берега реки на другой? Или начало — тот зимний солнечный день, когда появилась на свет Элия? Или приезд к нам Чубура, брата жены моего отца? А может, начало — женитьба отца на женщине, которую я до сих пор звал матерью? Знаю точно, конец истории настал сегодня, а начала не могу уловить. Если рассказывать все по порядку, получится так.

Председатель нашего аульского совета — строгий, молодой мужчина Хусей, сын Хасана,— на собрании коммунистов аула поставил вопрос о переселении желающих на левый берег реки, где земля была плодородней, трава сочнее, лес богаче. Во время бомбежки в войну пострадал весь аул, но особенно досталось левой половине. Дома были разрушены; почти все, что уцелело тогда, разрушило время — дожди, снега, ветер. Сейчас там был пустырь; старые, аккуратные когда-то дворики покрылись бурьяном, сады заросли. Богатую землю могла спасти, оживить человеческая рука. Колхоз выделял ссуды на постройку жилищ, обеспечивал техникой — трактором для вспашки земли. Кроме того, в частном хозяйстве разрешалось держать на период строительства тягловый скот: лошадей, мулов, волов. Отец в тот день проголосовал за предложение председателя одним из первых, а через неделю ввел в наш двор купленную где-то в калмыцких степях немолодую, но крупную и красивую, удивительно белой масти кобылу. Он на ней не возил ни кирпич, ни бревна — одалживал для этой цели обычно волов или ослов у соседей. Кобыла жила на воле, паслась сама по себе и, к неудовольствию моей мачехи, потихоньку убавляла наши старые запасы золотого кукурузного зерна. Худая и неуклюжая на вид кобыла к осени стала неузнаваемо гладкой и резвой, полностью проявив в осанке и движениях свою породу, о которой любил говорить отец. А осенью отец нанял грузовой автомобиль и повез ее в район, далеко от нас, где находился давно известный всей стране конный завод с прославленными племенными жеребцами.

Сторож конного завода сам, наверное, знал, что достоинства лошадиного потомства, как и всякого другого, зависят не только от матери, но и от отца: самая прекрасная кровь по материнской линии может разбавиться, ослабеть, если жидка отцовская кровь. Но согласился с этим лишь после того, как отец увеличил доход местного винно-водочного ларька на сумму своей месячной пенсии, по частям ее оставляя там каждый день, чтобы облегчить переговоры со сторожем...

Ни времени, ни пенсии отцу не было, наверное, жаль, потому что в конце концов в одну туманную ночь сторож рискнул нарушить закон: вывел тайком из конюшни нужного жеребца. Все должно было, по предположению отца, получиться великолепно, но через несколько месяцев стало ясно: кобыла не понесла... Отец снова нанял грузовик, снова отдал в ларек свою пенсию, но снова через три месяца опечалился. В первый раз в своей жизни он, может, тогда рассердился на лошадь. «Верблюдица бесплодная!» — бросил он обидные слова прямо в глаза нашей кобыле. Та как будто осознала свою вину. Через несколько месяцев после третьего визита на конный завод она, к великой радости отца, стала заметно полнеть. Окруженная по велению отца вниманием всей нашей семьи, принимая наши заботы как должное, грузнела она с каждым днем все больше, и отец был вполне счастлив. Зима только начиналась, а где-то в середине января, по подсчетам отца, должен был появиться жеребенок — сильный, длинноногий, с прекрасной кровью в жилах. Но к началу января истекал срок пользования тягловым скотом. С волами и мулами аульчане простились легко и быстро. С лошадьми расставались нехотя, под давлением председателя. Давала знать о себе древняя привязанность горца к коню. Многие пытались хитрить, увиливать, некоторые открыто отказывались. Тогда председатель специальным решением установил нормы сена для дойного и мясного скота, числящегося в каждом личном хозяйстве по последней переписи, и никто, зная строгость председателя, уже не мог надеяться получить в колхозе лишнюю охапку сена.

К новому году в ауле не осталось ни одного вола или мула, ни одной лошади, кроме нашей жеребой кобылы.

Аульчане стали избавляться и от ослов. На пользование ослами ни в какие времена запрета не было, но они были прожорливы, и на решение их судьбы повлияло прежде всего это. Каждый хозяин спешил найти способ выдворить своего осла: ни продать, ни подарить другу, ни сдать в мясокомбинат возможности не было. Шерсть на них не росла — не острижешь, мясо несъедобно — в котел не сунешь, а из кожи ничего не выделаешь — не поддается обработке. Способ был один — пристреливать над пропастью. Но жалко, поэтому однажды ночью, собрав всех своих ослов в стадо, погнали тихонько вниз по реке, оставили их на центральной площади соседнего аула. В соседнем ауле тоже не простаки жили. В новогоднюю ночь — видимо, в качестве своеобразного праздничного подарка — стадо возвратилось опять к нам, увеличившись ровно вдвое.

Решили было не оставлять начатого дела, не уступать соседям — отправить стадо обратно и посмотреть, кто раньше устанет. Но председатель — человек серьезный — не одобрил намечаемое состязание в упрямстве.

Он вызвал из района несколько машин, и ослов увезли в город.

Председатель отца уважал. И когда напоминал об истечении дозволенного срока, делал это мягко, стараясь найти убедительные и теплые слова. Чем ближе был январь, тем убедительней были его слова. Отец сначала молчал, потом признался, что надеется получить в районе разрешение содержать на свои средства лошадь, поскольку он ею и раньше как тягловой силой не пользовался и впредь не будет: она, во-первых, грузна брюхом, во-вторых, благородных кровей и может, по его мнению, произвести на свет редкое и ценное потомство. Ну, а если разрешения не получит, лошадь свою, уважая закон, из аула уведет, обещал отец.

Старый год прошел, несколько раз отец ездил за разрешением, которого все-таки не сумел получить, и ему пришлось выполнить обещание. В первый день нового года он накрыл бока отяжелевшей лошади мохнатой попоной, напоил теплым мучным отваром, и мы втроем двинули в горы. План отца был прост: перезимовать на дальних фермах, в каждой по неделе, а весной можно отправить нашу кобылу с будущим жеребенком еще дальше от аула, на летние пастбища... Пробыть по неделе на каждой ферме оказалось невозможным, все заведующие фермами в один голос жаловались на нехватку кормов, ни сена, ни силоса не хватало; кроме того, зоотехник наезжал часто, человек он был крутого нрава. Отец понимал положение, больше суток одну ферму не обременял, переходил на другую. И только в Терновой балке отец целую неделю прожил оседло. Заведующий здешней фермой, молчаливый,

но приветливый, наш дальний родственник Назир, сын Дебоша, ни на нехватку кормов, ни на строгость зоотехника не пожаловался. Отец вывез сюда из аула запасенный с лета стожок сена и мешок пшеничной муки и, видимо, собирался осесть здесь до конца зимы. Но судьба распорядилась по-своему, неожиданно и жестоко.

В глухой лощине, заросшей кустарником, волк-одиночка выследил нашу кобылу. Ее и волка мы с отцом увидели разом. Между заснеженных терновых кустов, разметав в беге гриву и хвост, как белая метель, плавно неслась она в сторону фермы, а крупный серый зверь короткими упругими прыжками настигал ее...

Мы с отцом бежали почти над ними — по самому краю склона лощины, отвесному, высокому, каменистому. Зверь не обращал ни малейшего внимания на наши устрашающие выкрики и на острые вилы, оказавшиеся у нас в руках по счастливому случаю: мы складывали в стог привезенное вчера сено.

Волк, прекрасно видя высоту кручи, с которой нам не просто быстро спуститься вниз, полностью отдался своему жестокому желанию — настичь и растерзать жертву...

Все свершилось на наших глазах. Поравнявшись с лошадью, волк несколько мгновений бежал с ней рядом, бок о бок, словно ничего недоброго не замышляя, потом резко вдруг подскочил, промелькнул в воздухе и, сжав тело в комок, сведя все четыре лапы и пасть в одной точке, впился в лошадиную шею... Сделав несколько скачков, лошадь рухнула, и на какую-то секунду родилась надежда, что тело хищника, повисшего на ней вверх лапами, неминуемо будет раздавлено сейчас ее грузным телом. Этого не случилось. Зверь, развернувшись в воздухе, ловко опустился на снег вниз брюхом, рядом с опрокинутой навзничь лошадью, и снова впился в белую шею, на этот раз ближе к горлу. Так и держал он, недвижный, свою трепещущую жертву, пока не добежали мы.

Молча надвигались мы с отцом на него, выставив вперед наши вилы, а он с ненавистью хрипел и, не сводя с нас глаз, пятился, отступал, при этом готовый к прыжку в любую секунду. В глазах волчьих не было страха — сухие, злобные, незабываемые с того дня глаза... Мы шли с отцом рядом, шли попрежнему молча, и волк не выдержал... Не спуская с нас пронзительного взгляда, он медленно повернулся и, ударив по снегу сильным хвостом, помчался вверх по лощине...

Когда мы вернулись, снег, орошенный кровью, еще таял, а сама лошадь уже остыла. Зияли на шее две раны, жилы были словно бритвой перерезаны.

— Эх, не успели проститься! — сказал отец, положив ладонь на холодную лошадиную челюсть.

И смерть и столько крови я видел впервые. Кровь словно выжгла снег — на нем горел алый круг. Мне подумалось, ручьем уйдя под снег, течет кровь, течет невидимая, красная, теплая, течет по лощине вниз...

Страшнее волчьих глаз показались мне глаза неживой лошади: круглые, стеклянные, они не отражали солнца над нами, поэтому пугали... Я с того дня решил: нет на свете ничего мрачнее глаз, которые уже не могут отражать солнце...

Но я перестал думать и о крови, и о смерти, и о глазах, ослепленных смертью, как только перевел взгляд на живот зарезанной лошади... Живот дышал. Часть мертвого тела жила... Ладонь отца на этом шевелящемся животе, наверное, ощущала его тепло. И оттого, что живот дышал, кобыла показалась еще мертвее.

— Жив, он жив,— растерянно повторял отец одни и те же слова, положив на живот, вздрагивающий все сильнее, и вторую ладонь.— Он жив, это он стучится к нам...

Я понял, отец говорил о жеребенке.

На ферме с трудом представляли себе, что произошло... Я рассказывал возбужденно все с самого начала. Рассказывал о волке, как он смог повалить на снег сильную, крупную лошадь, говорил о дышащем животе и о том, как вспорол отец ножом этот живот, как нес на плечах спасенного жеребенка...

Рассказывал я подробно, торопливо, боясь, что не поверят. Но у всех глаза были такие, будто все сами видели чудо, о котором я рассказывал... Все смотрели на черноглазое четвероногое существо, которое стояло пока еще неуверенно, стояло и покачивалось. Темными влажными ноздрями оно ловило воздух и наполняло свои легкие.

Новорожденная была высока, тонка и бела, как погибшая мать.

— Вырастет — еще белее станет!— сообщил долго молчавший отец усталым голосом.— Сильная была ее мать. Была бы пуста брюхом — легко бы ушла от волка... И малышка будет сильной,— с уверенностью знатока добавил отец, подняв глаза на жеребенка.— Настоящий скакун на свет появился. Дай бог нам всем еще жить — увидим скоро ее крепкой, статной... И молниеносной, как элия. Расти скорей, Элия...

Так в тот зимний солнечный кровавый день появились на свет сама Элия и ее красивое имя.

Февраль выдался необычно суровым. Элия весь месяц жила с нами в доме. Как ни старался отец, она не могла окрепнуть, была малосильна, болезненна.

— Силу дают только материнские соски, соки входят в кровь с родным молоком,— объяснял отец.— Пустить бы сироту на месяц под сочную кобылу...

Кобылы в наших краях найти отец не надеялся. Элия росла на коровьем молоке. Сначала отец ее поил через резиновую соску, потом, к удивлению соседей, приучил к вымени нашей коровы. Не раз смеялись прохожие, видя, как, припав на колени и крутя от удовольствия хвостом, сосал жеребенок корову, а та, как ни в чем не бывало, терпеливо и смирно стояла, даже ухом не шевельнет, и жевала свою вечную жвачку...

Удивился, застав такую картину однажды и председатель, проходивший мимо нашего двора каждый день самое малое два раза — с работы и на работу.

— Чудаки! — сказал он, остановившись и глядя в наш двор поверх низкой каменной ограды. Такое было у него выражение лица и так он произнес свое слово, что отнести его можно было не только к отцу, кого он, без сомнения, имел в виду прежде всего, но ко всем нам во дворе: отцу, мне, жеребенку, корове...

Отец ничего не ответил и пригласил, как принято, председателя в дом.

Председатель как будто не слышал приглашения. Возвышаясь наполовину над каменной оградой, он все стоял и слегка улыбался... Потом опять сказал слово, которое трудно было к чему-нибудь привязать конкретно:

— Непрактично!

Отец, не зная, как ответить, решил что-нибудь все

же сказать, считая, видимо, молчание сейчас неудобным.

— Обжора большая,— сказал он, направив взгляд на вертящийся хвост жеребенка.

— Тем более,— сказал председатель, и отец, опять не сумев уловить его мысли, пожаловался почему-то на суровость зимы в этом году.

— Тем более и говорю,— повторил еще раз председатель, после чего не спеша и, судя по смущенному выражению лица, сожалея, что ему приходится сейчас говорить такое, он как можно более почтительным тоном стал высказывать мысль, которая медленно, но неуклонно прояснялась. До весны далеко, трава не скоро вырастет, говорил председатель, много молока еще потребуется этому жеребенку, которого отец нянчит, как своего ребенка, как сына второго; сколько еще хлопот он доставит, пока конем станет, а когда конем станет — тоже как с ним быть, неизвестно.

Председатель остановился и ждал, что скажет отец. Отец молчал. Тогда председатель, как бы против своей воли, продолжал:

— Козы, овцы — дело простое. Одну-две головы сверх положенной нормы во дворе держать — это понятно почему: лишний кусок мяса, лишний клок шерсти. Нарушение закона, так сказать, с явной пользой... Конь когда-то, понятно, необходимостью был, крыльями мужчины даже считался, никто раньше не мог сказать: подрежь себе крылья... Изменилось время, в город хочешь срочно добраться — через каждый час автобус; дрова из лесу или сенцо с гор домой подбросить — колхоз машину выделит или скоростной трактор с прицелом. И ни молока мотор не просит, ни сена, ни овса; ни хвост, ни гриву каждый день чесать ему не надобно, на водопой водить тоже.

Председатель на этот раз остановился с твердым намерением молчать, пока не услышит, что все-таки думает сказать отец. Отец понял это и неторопливо заметил, что мотор тоже ухода требует, а вместо молока жрет бензин.

— Литр самого дорогого бензина стоит ровно в два раза дешевле литра молока. Это, во-первых. Во-вторых, в одном моторе, даже слабом, десятки лошадиных сил,— сказал председатель и, чувствуя, что возражений на этот счет не последует, заключил: — Потому и говорю, непрактично.

Уходя, председатель закончил свои рассуждения вежливо, но твердо: потому что непрактично, потому и не разрешено пользоваться живой лошадиной силой в личном хозяйстве, жеребенок пусть сосет, пусть живет, пока жеребенок; когда же он станет конем — а через сколько времени жеребенок считается конем, отцу самому известно лучше, чем кому бы то ни было,— тогда отец найдет вариант, как распорядиться личной собственностью; но распорядиться так, чтобы его, уважаемого человека, старого образцового колхозника, не могли упрекнуть в нарушении порядка из-за какого-то, пусть даже золотого коня.

Отец знал, что жеребенок в коня превратится не раньше чем через два года, а за два года может измениться многое, за два года можно что-нибудь придумать, так рассуждал, видимо, отец, и волнения особого я на лице его не прочел, когда он слушал председателя. И когда председатель уходил, отец провожал его спокойными, понимающими глазами.

— Исполнительный человек, деловой!— с уважением сказал отец, глядя в широкую, выпрямленную спину удаляющегося председателя.— Всегда справедлив, всегда прав...

Я смотрел, как расчесывает шершавым языком бок жеребенка наша корова. Думал, может, она его принимает за теленка, который на прошлой неделе пал от непонятной болезни. Я смотрел, как насытившийся жеребенок терся мордой о шею своей кормилицы.

Весна пришла внезапно, мягкая, теплая... К концу марта Элия ожила и с каждым днем удивительно резвела... Ночевать она уже оставалась не в доме — чему была особенно рада моя мачеха, которой приходилось следить за чистотой,— а в сарае, с нашей коровой. Крепко привязалась корова к своей питомице. Именно как привязанная бродила за Элией по всему двору, а когда та выскакивала за ворота и уносилась прочь, корова, зная, что за ней не поспеть, стояла у ворот и, тревожно мыча, ждала ее возвращения.

Когда аульное стадо выгнали на пастбище, пастух у отца потребовал особого магарыча за нашу корову, которая, отбиваясь от стада, норовила утром повернуть назад, вечером неслась в аул, далеко опередив остальных. Несколько раз она влетала в наш двор средь бела дня и принималась облизывать жеребенка, как будто рассталась с ним не утром, а сто дней назад. Пастух всякими способами старался сломить этот ее каприз; по его словам, он, в сущности, пас только нашу корову, а не остальное стадо; в конце концов он заявил отцу, что отказывается от нашей коровы.

Тогда однажды утром отец выгнал в стадо и Элию вместе с коровой. Вечером они вместе вернулись сытые, спокойные. Пастух тоже впервые за много дней вернулся спокойный и сказал, что целый день корова и жеребенок щипали траву рядышком...

Так в стаде провела Элия первое свое лето до самых снегов.

В середине второго лета отец один из дней объявил торжественным днем. В этот день Элии исполнилось ровно полтора года. Отец решил, что настала пора возмужания Элии, пришел час испытания ее силы и быстроты.

В балке, начинающейся на самом краю аула, лежало зеленое узкое поле, зажатое с двух сторон такими же зелеными склонами. Поле было ровное. Памятно было оно всем в ауле как место, где в прежние времена собирался народ в праздники смотреть состязания мужчин в силе и удали, в борьбе, метании камня, где устраивались и лошадиные скачки. Отцу это место было, по-моему, очень дорого, потому что с ним было крепко связано его детство, юность, вся молодость его. На этом поле он много лет обучал аульных парней лихой джигитовке верхом... Это было поле его молодости, его мужества, поле его исполнившихся надежд и неожиданных разочарований... Сейчас отец, седобородый и седоголовый, через много лет стоял на своем поле, и глаза его были необычно светлы... Рядом с ним, обузданная, встревоженная, грызя неизвестные ей до этого часа удила, стояла, пританцовывая от беспокойства, юная горячая лошадь. Никто в ней не признал бы прошлогоднего неуклюжего, вялого, невпопад тычущегося мордой в коровье вымя жеребенка. Стояла широкогрудая, высокая, тонконогая лошадь. Вся белая, белее своей матери, лишь по хребту были легко рассыпаны серые крапинки, и вокруг черных косых глаз и вокруг губ темной каймой лежали такие же серые линии.

Только снег, только дождь, только легкая пыль садились до сих пор на спину Элии. До сих пор она оставалась дикой, вольной. Самая добрая лошадь остается дикой, если не вскочит на нее человек и не удержится на ней до тех пор, пока она сама,

добровольно, не признает в человеке сильного и властного своего хозяина.

Расселись в ряд на зеленом склоне старики, пришедшие вспомнить забытые картины укрощения коня, пониже стариков сидели мы, дети аула, самые маленькие и уже не маленькие, мои друзья, мои сверстники. И когда отец, как бы случайно, украдкой несколько раз скользнул оценивающим взглядом по нашим рядам, я решил, что он видит в нас свое давно ушедшее детство и думает, конечно, обо мне тоже, о своем сыне, который сейчас первым по праву вскочит, как он сам когда-то, на крутой, неоседланный, чуткий к малейшему прикосновению и готовый к бунту хребет коня.

И стоя возле Элии на плоском камне, с которого можно было легко вспрыгнуть на нее, я подумал, что и отцу моему в мальчишестве не раз послужил этот камень, и от этой мысли почему-то я впервые особенно остро почувствовал свое родство с отцом, как никогда, остро почувствовал желание быть похожим на него во всем, а сейчас это значило — надо победить, обязательно победить, как побеждал отец... И когда я не сумел победить, когда я полетел вниз, ни боли, ни стыда я не ощутил, я только тогда подумал: побеждать — это не легко, быть похожим на отца не просто...

Элия сбросила меня... В первую секунду, когда она встала на дыбы, тело мое сползло на самый ее круп; когда же она, сделав несколько бешеных скачков вперед, вдруг резко остановилась, я скользнул вдоль хребта к гриве и, задевая животом кончики острых ушей лошади, полетел на землю. Уже на земле услышал я пугливый всхрап над собой и дружный, безобидный смех на зеленом склоне.

Один за другим после меня взбирались на плоский камень мои друзья и вскакивали на Элию, а она сбрасывала с себя их, только что смеявшихся надо мной,— одних чуть позже, других чуть раньше, многих еще раньше, чем меня...

Каждый раз находила она какой-нибудь новый способ избавиться от них. На полном скаку могла вздыбиться, потом сразу же встать на передние ноги и высоко забросить зад, она могла стремительно мчаться по прямой и неожиданно прянуть влево или вправо, она могла, не останавливая бега, резко развернуться и побежать в обратную сторону.

Вскоре не осталось среди мальчишек ни одного, кто не слетел бы на землю. Желания снова испытать силы ни в ком не появлялось. Но отец держал разгоряченную Элию и смотрел в нашу сторону. Смотрел, молча требовал мужества. Мне казалось, я не смогу потом смотреть отцу в глаза, если не сумею побороть сейчас страх. Я видел пристыженных этим взглядом своих друзей. В них сейчас, конечно, жил такой же страх. Жил во всех, кто отделался пустяками при падении и кто получил ушибы. Я знаю, многие скрывали сейчас свои ушибы и боль, как я скрывал боль в правом плече. Больше всех не повезло двоим: у одного был разбит и окровавлен нос, у другого рассечен лоб.

Взгляд отца переходил с одного лица на другое, и когда остановился на мне, я снова почувствовал: если сейчас отведу глаза, никогда потом не смогу смотреть на него прямо, открыто, честно, как до сих пор... Я не спеша встал, подошел к Элии, взобрался на камень и через мгновение опять ощутил под собой бунтующую спину коня.

Я слышал, как бьет в уши встречный ветер, как шумно, прерывисто дышит Элия; я сжимал коленями ее упругие бока; я как можно короче натягивал повод, отчего лошади приходилось откидывать голову назад и скакать, ничего не видя под ногами; я, не выпуская повода, ухитрялся держаться за жесткую гриву, я старался прилипнуть к этой непокорной, вспотевшей спине и каждую секунду ждал, что она меня вот-вот сбросит. Так и случилось... На этот раз я не выпустил повода, на этот раз я удержался на спине дольше, на этот раз я не услышал смеха на зеленом склоне. На зеленом склоне и старики, и отец, и мальчишки знали и видели, какое это трудное дело — удержаться на коне, и они молчали, и в этом молчании могло быть уважение.

Я снова подвел Элию к камню... Отец хотел, чтобы вместо меня сейчас испытал силы уже кто-нибудь другой, но один из стариков крикнул:

— Не насытится спина падающего, пока не перестанет падать! Пусть еще попробует. Третий раз — верный раз. Удачи тебе, сын отца!

Я знал: не удержать мне слез обиды, если сейчас меня, побежденного, лишат права еще побороться. Отец тоже словно знал это, он отошел в сторону, вернув мне повод.

Перед тем, как снова вскочить на Элию, я с радостью почувствовал: я уже не боюсь, я удержусь теперь непременно. Может быть, от этой уверенности прибавилось у меня сил, может, усталость отняла силы лошади — ей не удалось сбросить меня. Она стремительно и долго неслась вниз по балке, до самого аула, словно хотела избавиться от меня, сначала утомив этой бешеной скачкой. Чем сильней я натягивал повод, тем сильнее запрокидывала она голову и все быстрее мчалась вперед. Она ничего впереди не видела, и там, где кончалось ровное поле, скачка стала опасной: Элия могла и споткнуться о камни и удариться грудью о кирпичные заборы вокруг первых домов аула. Я перестал натягивать повод, потом, совсем отпустив левый его конец, изо всей силы потянул к себе правый. Элия упрямо неслась к аулу, хотя шея ее резко свернулась набок, но постепенно ей пришлось изменить направление, и она уже мчалась на подъем к правому склону балки. Чем ближе оказывался склон, тем больше замедляла она свой бег. Уже на склоне мне удалось направить ее вверх по балке, она скакала все медленнее и, когда я осадил ее перед людьми, ждавшими нас, поднялась высоко на дыбы, закружилась на месте и внезапно заржала... Заржала обиженно, отчаянно, будто жаловалась небу на меня, на отца, на всех нас, людей.

Отец смахнул ребром ладони белую пену с ее боков, на другой ладони протянул такой же белый кусок сахара и ласково сказал:

— Не плачь, глупая. Зла тебе не хотим...

Утром следующего дня отец перековал Элию, вытащил из старого сундука в сарае новенькую сбрую, всю в серебре.

И я с полудня до вечера ездил на впервые оседланной Элии с одного края аула в другой — созывал гостей на свадьбу: женился наш родственник... Я останавливал лошадь у ворот, стучал в калитку роскошной ручкой своей плетки, а если ни ворот, ни калитки не было, просто кричал:

— Эй-эй! Кто тут дома?! Женится брат заведующего фермой Назира, сына Дебоша. Меня послали пригласить вас.

Все обращали внимание на то, что я верхом. Говорили: давно уже не приезжали приглашать на свадьбу верхом да еще на белом коне. Хорошая эта примета, должно быть, счастливой окажется сноха старого Дебоша. Пусть счастлива будет и в дом жениха счастье принесет.

За мной, куда бы я ни поворачивал, длинным хвостом тянулась гурьба аульных малышей. Покатать их на седле я обещал, но не сейчас, пока еще

лошадь не вполне покорна, и единственное, что мог для них сделать, ехал шагом или медленной рысью, чтобы они поспевали за мной...

На стук в ворота дома старого Хасана, отца председателя, вышел сам председатель, выслушал слова приглашения, изучая при этом любопытным взглядом и лошадь и серебряную сбрую на ней, даже плетку в моих руках, и сказал слово, которое я уже и раньше от него однажды слышал:

— Чудаки!

...Элия привыкла к седлу. Она спокойно возила на себе всех в ауле: и малышей, давно мечтавших проехаться верхом, и старика, что собрался в гости к родственникам, далеко от нашего аула, а поехать автобусом не мог — организм не выдерживал, тошнило от запахов бензина... Особенно необходима и незаменима была Элия, когда у кого-нибудь не возвращался вечером домой с пастбища скот и нужно было отправиться на поиски в горы как можно скорее, чтобы овца или бычок не стали добычей волков.

По разным причинам нуждались в лошади аульчане, отец никому не отказывал, потому что никто ни разу не огорчил его плохим отношением к Элии — зря не гоняли, не морили голодом, давали воду, уважали.

Председатель как будто перестал обращать на нее внимание, хотя в тот вечер, когда сидел за свадебным столом среди гостей, он свой тост, как я узнал позже, поднял за образцовый порядок в ауле и за осуждение всех нарушителей этого порядка, будь он мужчина, будь женщина, будь двуногий, одноногий или четвероногий... Всем было ясно, кто такой одноногий нарушитель — Харун, сторож совхозных складов, вернувшийся с войны на левой ноге. Он продал этой весной кому-то полтора центнера совхозной семенной картошки. А четвероногим нарушителем была, конечно, Элия.

Спокойно прошло все лето. Осенью в один из вечеров председатель пришел к нам, посидел молча, молча выпил чаю и, уходя, сказал, что из-за одной лишь Элии наш аул не вышел на первое место в районе. А возможность была, все шло к этому, по всем показателям были впереди, только аул Сары-Тюз имел такие же показатели, но все равно Сары-Тюз медленно сползал на второе место. И сполз бы непременно, если бы председатель Сары-Тюзовского аулсовета не догадался заметить, что в нашем ауле нарушаются постановления районного Совета, например, держат лошадей, хотя сказано ясно: запрещается. Что можно было возразить? Спор был решен. Первое место — Сары-Тюз, нам — второе, и то с трудом.

Председатель сказал, что Элия должна исчезнуть из аула в самый короткий срок. Он обещал это в районе.

Отец сказал, что, конечно, все-таки это шутка. А если нет, то плохо, потому что он возлагает большие надежды на Элию, она еще прославит наш аул, наш район, нашу область, может, даже нашу страну, и если председатель настоящий руководитель, в чем, конечно, отец не сомневается, то председатель найдет способ защитить Элию, сохранить ее для этой будущей славы.

Такой способ есть, сказал председатель. Как отцу должно быть хорошо известно, о славе быстрых копыт в нашей стране заботятся специальные люди — в специальных хозяйствах выращивают настоящих скакунов.

Существует такое хозяйство и в Карачаево-Черкессии, совсем недалеко, в соседнем Прикубанском районе. Пусть Элия растет там. Лошадь с удовольствием возьмут, если обнаружат в ней толк. Председатель сам поможет, чтобы специалисты оценили ее достойно,— отец в убытке не будет.

Предложение председателя поселить Элию в Прикубанском конезаводе отец пропустил мимо ушей, словно вовсе не слышал. Тогда председатель добавил, что ему не хотелось так с отцом разговаривать, пусть простит, хотя, впрочем, конечно, с другим человеком он мог бы поговорить построже и в другом месте, так как нарушение налицо.

Немного помолчав, отец спросил: что председатель называет другим местом?

Председатель попросил отца не сердиться, ведь он пришел с таким разговором к нему домой, а не на собрании выступил, при всех.

При всех такие вещи говорить, видимо, неудобно, предположил отец, по-прежнему обиженный,— серьезный человек из-за одной лошадиной головы отобрать заслуженное первое место у всего аула не мог. Либо это шутка, либо тот, кто решил так вопрос, несерьезный человек.

Председатель еще раз попросил отца не сердиться и перед тем, как уйти, вежливо простясь, еще раз сказал, что лошадь из аула должна исчезнуть, работы много, столько говорить о ясном деле неразумно...

Я и сейчас не знаю, всерьез ли говорилось о решении в районе отнять у нас первое место из-за Элии или было это нехитрой выдумкой председателя, но на судьбу Элии этот вечер, конечно, повлиял.

Сначала отец нашел было выход из положения. Он попросил пастуха взять его в напарники, в таком случае у отца появлялось право владения лошадью. Пастух обрадовался неожиданному предложению и сделал отцу встречное предложение: он отказывался от стада до самого конца сезона, чтобы лечь на операцию.

Мачеха моя сразу же стала отговаривать отца от такой затеи. Она не говорила, что пасти коров — дело недостойное для отца, она говорила, что это просто трудное дело, особенно в его возрасте и при его слабом здоровье. И хотя отец прислушивался к ее словам с должным вниманием, все же согласился заменить пастуха и, конечно, заменил бы, если бы тут не приехал наш зять, муж самой старшей моей сестры. Позже я узнал, что вызвала его по телефону моя мачеха. Зять был еще вежливее, чем председатель. Первое, что бросалось в глаза — его вежливость и особая аккуратность и в одежде и в речах. Такая вежливость и аккуратность, по-моему, немного раздражали отца, хотя виду он не подавал. Зять работал сначала директором восьмилетней школы, потом его перевели в соседний с нами район директором швейной фабрики...

Зять сразу начал с того, что отец должен беречь себя, он об этом очень просит сам, от своего имени, в первый раз просит. Об этом также просит и жена его, дочь отца, и дети его, внуки отца, которые уже, кстати, подросли и которым, конечно, небезразлично, чем занят их дедушка, отдыхает ли, бережет ли силы или с утра до вечера, не слезая с седла, следит за непослушным стадом. В самом конце очень осторожно зять отцу посоветовал и лошадь свою продать: к чему на старости лет лишние заботы о ней, а если отцу для чего-нибудь вдруг понадобится транспорт, пусть позвонит на фабрику — в его распоряжение в любое время будет направлен новенький ГАЗ-51.

Совет продать лошадь отец легко пропустил мимо ушей, но пасти коров перестал. Может, и зятя не хотел обидеть полным невниманием к его просьбе, а может, почувствовал, что в самом деле нет у него

теперь сил держаться с утра до вечера в седле. И снова сам пастух стал выгонять стадо, решив как-нибудь потерпеть с грыжей до зимы.

После этого мачеха стала утешать отца, подумав, что он сдался, смирился с мыслью расстаться с Элней. Об этом, наверное, подумал и председатель, он больше о лошади не заговаривал, а, проходя мимо дома, только вежливо и как-то сочувственно произносил слова обычных приветствий.

Так кончилась осень.

Так пришла зима.

Но отец, оказалось, вовсе не думал расставаться с Элней. Председатель особенно хорошо это понял, когда увидел, с чем возвратился однажды отец из Ростова, куда возил продавать излишки нашего картофеля. Председатель шел с работы, и так случилось, именно в этот час слез у нашего дома с попутной машины отец. В правой руке он держал перевязанные бечевкой пустые мешки из-под картофеля, а в левой, как связку баранок, слегка раскачивая, тоже на бечевке, нес восемь новеньких стальных подков.

Не помню, сколько дней прошло после этой встречи, может, неделя, полторы,— отец получил приглашение на общее колхозное собрание. Я не знаю, о чем там говорилось, но видел: отец и пошел на это собрание и пришел с него расстроенный. Девушке, принесшей приглашение, отец удивленно говорил, что и без приглашения явился бы, он знал, когда начало собрания, он сорок лет являлся на собрания без приглашения, являлся и после того, как вышел на пенсию, хотя с него, быть может, как с пенсионера, никто не стал бы строго взыскивать за неявку...

Отец вернулся с собрания поздно, оно затянулось, видно; но о чем бы там ни говорилось — самолюбие отца кто-то задел. О чем бы ни говорилось — была речь и об Элни. Я перестал в этом сомневаться, когда на следующий день отец взял с собой теплой одежды, много хлеба, сушеной баранины и стал седлать Элню, сказав, что едет надолго в Терновую балку...

Отец сначала, должно быть, составил такой план: купить где-нибудь сена, завезти его на ферму того же Назира, сына Дебоша, и зимовать там. План этот не удался. Отец поднялся выше по балке, далеко от фермы, построил себе шалаш, выбрав место в терновых зарослях погуще, соорудил навес для Элни, окружив его неприступным для волков колючим забором из терна, доставил на это место вдобавок к купленному сену несколько мешков комбикорма и стал здесь ждать весну. Позже я слышал, почему отец не остался на ферме. Назир, сын Дебоша, откровенно признался, что не хотел бы иметь в этом году неприятностей. Когда же отец заметил, что неприятности у него могли быть и в ту зиму, когда он приютил на ферме нашу кобылу, заведующий сказал, что он отца уважает и теперь не меньше, чем уважал той зимой, но тогда на собрании о лошадях ничего не говорилось...

В аул отец ни разу не спустился. Поднялись к нему мы — я и мачеха.

Я сидел под навесом, Элня лежала рядом, а мачеха с отцом разговаривали в шалаше.

Разговор был долгий. Слов я не разбирал, только одно я понимал: мачеха просила отца вернуться в аул. Отец отказывался. К вечеру мы с мачехой ушли. Отец, заросший густой щетиной, осунувшийся, остался в балке. Он сильно кашлял.

Глаза мачехи были заплаканы. Шла усталая, опиралась на мое плечо, и в голосе ее были беспокойство, обида, тревога. Она говорила, что отец заболеет, он уже болен, он и умереть может, а домой вернуться его никто уже не уговорит, только Чубур может его спасти, и мне придется завтра же поехать за Чубуром...

Мать свою я не помню. Она умерла от родов. В первый раз мне пришла мысль, что я невольный виновник смерти ее, когда отец в день появления на свет Элни случайно обронил слова о том, что не будь Элни, мать ее сумела бы уйти от волка... А о том, с какой добротой заменила мне мачеха умершую мать, я вспомнил, глядя, как наша корова, подставив Элни полное свое вымя, лизала языком ее бока... Мне не приходилось никогда думать, любит ли меня мачеха, поэтому, думаю, она меня любила. Сколько бы я ни копался в памяти, не вспомню ни одного ее холодного взгляда, ни одного обидного слова. Я не думал о справедливости ее требований ко мне, я их принимал так же просто, как ее внимание ко мне и заботу. Я привык к ее ровному голосу, спокойствию в делах и словах, привык к ее внимательному и серьезному взгляду, привык ко всему в ней, как и другие, наверное, привыкают к своим матерям.

С отцом у нее никаких разногласий я тоже не замечал.

Но, наверное, они появились с той поры, когда отец впервые купил лошадь. Открыто недовольство не выражалось, хотя отец, видимо, мог заметить его, и когда кормил бесполезную в хозяйстве прожорливую кобылу, и когда тратил свои пенсионные рубли на племенного жеребца для кобылы, и когда жеребенок всю зиму жил с нами под одной крышей. Тогда отец хорошо чувствовал, наверное, как неприятна была мачехе возня с жеребенком. Но она, конечно, не могла строго осуждать непонятную для нее привязанность отца к жеребенку, как и вообще его страсть к лошадям. Других слабостей, на ее взгляд, у отца не было, и самым крупным их разговором — и, очевидно, самым неприятным — был разговор в шалаше. Может быть, в душе мачехи до того дня жила уверенность, что она сумеет всегда, когда появится необходимость, найти с отцом общий язык, легко убедить его в разумности того, что самой ей кажется разумным. Тем более что она пользовалась в ауле славой умной женщины: «Аллах дал ей мудрость языка»,— говорили в ауле и нередко даже просили ее помощи в сватовстве, особенно если успех в нем по каким-нибудь причинам был сомнителен. Мачеха скромно отмахивалась, отшучивалась, когда говорили о ее красноречии, но, видимо, всякую похвалу насчет этого своего дара втайне принимала как вполне заслуженную. В первый раз, может быть, ей в тот день в разговоре с отцом пришлось ощутить свою беспомощность — не из-за слабости своего влияния, а из-за силы отца. Эта твердость отца и заставила мачеху вспомнить о Чубуре — единственном, с чьим мнением не мог не считаться отец в каком бы то ни было вопросе. Отцу полагалось уважать Чубура, потому что Чубур был родным братом его жены. Вообще всех родственников жены, даже самых дальних, должен, как я уже знал, почитать всякий человек, если он считает себя настоящим человеком. Так говорил обычай, так велось исстари. Совсем неважно, хороши родственники или нехороши, их дала судьба, почтение к ним должно быть особое. Тем более если родственник — родной брат или родная сестра жены. Не раз я слышал, как говорили в ауле, что человек, у которого есть зять, не пропадет: зять — надежда, зять — опора, поддержка, на него всегда можно положиться, можно взвалить на плечи ему любой груз, он будет без-

ропотно нести его. «Счастливый человек, хоть осла не имеешь, но зять у тебя есть» — такую шутливую пословицу о зяте мог слышать в нашем ауле каждый.

Поэтому мачеха и рассчитывала на Чубура, решив отправить меня за ним как можно скорее. Чубура отец ценил не только как брата жены, а вообще как умного, толкового человека. Работал Чубур в областном центре, в Черкесске, заведовал заготовительной конторой. Очень подвижный, веселый человек, он говорил о самых серьезных вещах шутливо. В ауле его знали, считали серьезным, внимательным, достойным уважения. Приезд Чубура к нам становился событием. Отец резал овцу, доставал водки, собирались гости, на почетном месте, рядом с тамадой, сидел, как правило, Чубур.

Меня Чубур называл «голым ежиком», ничего не объяснял, и я ничего не понимал, потом решил — Чубур считает меня слишком тихим. «А ты ни разу никого не колотил, а?» — весело допытывался у меня Чубур. «Нет»,— говорил я, на что Чубур заявлял: «Зря жизнь проводишь. Значит, тебя колотить будут». Этого тоже я не понимал, а Чубур смеялся и ничего больше не объяснял.

...Чубура дома не оказалось. Я передал просьбу мачехи сыну Чубура. Сын тоже был подвижен, остроглаз и насмешлив, как отец. Родился он лишь на два года раньше меня, но казался гораздо взрослее. Застал я его в то время, когда он переписывал в толстую тетрадь стихи из какого-то журнала. Моему приезду обрадовался, дал прочесть только что переписанные строчки и спросил, как я понял их смысл. Стихи были о горилле. Горилла, я знал, была крупной обезьяной.

Горилла играла в горелки,
Горилла лакала горилку,
И ела она с тарелки,
И нож признавала и вилку,
И даже порой говорила,
Поскольку была говорливой.
Но в эти минуты горилла
Была еще больше гориллой.

Я понял открытый смысл строк о горилле. Но я чувствовал: есть между ними затаенный, скрытый от меня смысл. И когда сын Чубура увидел в этой горилле «темного человека», который думает, что перестал быть темным, научившись принимать пищу с тарелки, стихи мне сразу понравились. Потом я, к своему удивлению, обнаружил, что запомнил их наизусть...

Чубур приехал на той же неделе, вечером. Мачеха известила об этом отца наутро, через колхозного объездчика, собравшегося в Терновую балку по своим делам. На другой вечер отец спустился домой.

Чубур не вскочил навстречу отцу, как бывало, не стал шутить, тормошить его и задавать всякие вопросы. Он молчал. Лицо его, бывшее минуту назад обычным, оживленным чубуровым лицом, при появлении отца неузнаваемо изменилось, приняло страдальческий вид. Встал он медленно, кряхтя, постанывая, словно сильную боль превозмогал крепкий, всегда бодрый Чубур.

Такая внезапная перемена в Чубуре была мне непонятна. Встревоженному отцу он сказал, что его уже давно мучит поясница, в ней поселился, он сказал, то ли ревматизм, то ли радикулит, эта адская болезнь ни есть, ни пить, ни спать, ни работать ему не дает, он испробовал все возможные средства, ничего не помогает.

Не понимал я, как может жаловаться Чубур. Не понимал я, почему мачеха просила скрыть от отца мою поездку в город за Чубуром. Не понимал я, почему она рассказывала Чубуру об отце вполголоса и умолкала при моем появлении, не скрывая того, что ее слова не для моих ушей. Многое не понимал я до сегодняшнего дня.

Многое понял сегодня в полдень, когда вернулся из школы...

Когда я вернулся из школы, во дворе на белом снегу лежала белая Элия, а над нею стояли отец и несколько мужчин — наших соседей. Элия была связана. У одного из соседей, густобородого, но молодого еще, плечистого тракториста Сюлемена сверкал в руках нож. Длинное стальное лезвие было, видно, отточено только что — на снегу чернел точильный брусок.

Я не верил, что Элию будут сейчас резать, хотя соседи наши дружно повалили ее на снег, связали ноги и наточили нож. Но к моему лицу сразу прилила кровь, оно жарко запылало, и я почувствовал, как где-то внутри, медленно заполняя всего меня, рождается страх. Страх окреп, когда я услышал, как в глубине двора, за навесом, отчаянно заревела наша старая корова.

— С утра вот так. Ревет бедняга,— удивился Сюлемен и роговой ручкой ножа почесал в затылке.— Ведь мать она вроде бы Элии, свое молоко давала. Предчувствует.

Все было готово, ждали, пока вынесут какую-нибудь посуду под кровь.

— Сейчас! Сейчас! — кричала из кухни мачеха, гремя нашим старым медным тазом, видимо, она решила его ополоснуть.

Я не просил ничего объяснить, я смотрел только на лицо отца, бледное, неподвижное лицо, а отец не хотел смотреть на меня.

Я понял со слов наших соседей, что Чубур просил по случаю его приезда прирезать не овцу, как обычно, а лошадь, потому что Чубур приехал больной и болезнь из него может выгнать только молодая конина — врачи посоветовали, да и прадедами нашими это средство давно испытано. Так что, если аллах не против будет, оно подействует отлично.

Я все равно не верил, что Элию могут зарезать и съесть. Я не верил, что отец это допустит, хотя об этом просил сам Чубур, единственный брат его жены, и просил, наверное, в присутствии гостей, так, чтобы отказать было совсем невозможно.

И когда отец подошел молча к Сюлемену и взял у него нож, я подумал: он сейчас перережет аркан, связавший Элию, и она, вскочив, весело помчится вверх или вниз по заснеженным улицам аула, как мчалась когда-то жеребенком; и еще я подумал: если кто-нибудь сейчас помешает ему сделать это, если кто-нибудь недобрый в самом деле решит перерезать горло Элии, которую мы спасли от волка, которую вырастили, покорили, приручили, которую по-настоящему любили, то мы с отцом станем рядом и будем молча наступать на этого человека, как когда-то в Терновой балке на серого лютого волка.

Не верилось мне в такой конец Элии еще потому, что Элия сама была совершенно спокойной. Ноги ее стянул туго сплетенный, жесткий аркан, отец над ней встал с ножом, а она лежала совершенно спокойно. Если она умела думать, она сейчас думала вполне по-человечески: «Я ничего дурного не сделала. Я быстро бегаю, хозяин все время хорошо ко мне относился. И сейчас ничего плохого мне не сделают». Если она умела думать, она не могла думать об отце, обо мне, обо всех людях плохо.

И о смерти она не могла думать, потому что была совсем еще молодая. Она не думала о смерти, наверное, и в ту минуту, когда отец, став одним коленом на снег, другим придавил ей слегка шею и крепче сжал в руке нож...

В ту минуту на какое-то мгновение в круглом зрачке ее, повернутом к отцу, показалось мне, блеснула ненависть — последнее оружие связанных, но тут же погасла, и в нем, снова мирном и светлом, как тихое озерцо, опять сияла любовь — обезоруживающая любовь к небу, к отцу с ножом, к белому холодному снегу.

Я не видел глаз отца, мохнатые, низко опущенные брови прикрыли их, я видел только руку отца и по ее неуловимому движению понял: он нож у Сюлемена взял для того, чтобы самому оборвать жизнь Элин. Эта рука, рука отцовская, показалась мне чужой, и, когда я схватился за нее и стал кричать что-то, самому непонятное, она оттолкнула меня.

— Уходи! — как чужой, приказал мне отец, едва я поднялся на ноги, упав от его неожиданного толчка.

Отец, отец! Ты только сегодня, только на один день стал чужой мне или всегда был чужим?! Только сегодня надел на дорогое мне лицо маску или все время был в маске и снял ее только сегодня?!

Мачеха, вынесшая таз, утирала с моего лица снег и слезы, прижимала меня к груди, говорила:

— Уйдем, уйдем отсюда, не надо смотреть, что делается сейчас во дворе...— Увлекаемый ею под навес, я слышал скрипучий, старческий голос, обращенный к отцу:

— Мусульманин, не спеши. Смотри, где юг. Поверни ей голову правее...

Дом наш стоит окнами к югу.

Когда моя бабушка молилась, она поворачивала свое лицо к югу.

Когда человек умирает, его кладут в землю, повернув лицом к югу.

Когда добрые мусульмане режут съедобных животных, их головы поворачивают к югу.

Юг там, где горы.

За горами, говорят, еще горы. А за ними море водное и море песчаное, а потом начнется зеленый оазис, где стоит белый город. Это город Мекка. В Мекке мечеть — убежище от бед и греха, земных пороков, зла и страданий. И благо милосердия тут же познаешь...

Соседи на нашем дворе, отец и ты, старик, не забывший о юге, вошли вы мыслью хоть однажды в ту мечеть?

Не вошли!

Мне казалось, вошла мачеха. Она меня утешала, слова ее были просты и добры, она говорила:

— Нельзя любить ни коня, ни птицу, не любя человека. Отцу тоже больно, как и тебе сейчас, но рукой его движет любовь к человеку, у которого тоже боль...

Я не спрашивал мачеху, какой смысл унимать боль одного, причиняя боль другому, не спрашивал, для чего изгонять эту боль из поясницы Чубура, если она поселится в груди моего отца и моей груди. Я просто молчал. И был благодарен мачехе за то, что она в эти минуты со мной. Я тогда еще не знал, что со мной в эти минуты была не она, а ее ложь.

Я долго сидел под навесом и молчал, мачеха давно ушла. Стал дуть ветер, я перешел в сарай, где жила Элия. Здесь было тепло, и отсюда хорошо смотрелся двор. Все было кончено. На белом снегу, на месте, где лежала Элия, был выжжен ее кровью алый круг. На кухне в медном котле доваривалось ее мясо.

Вошел отец. Снял мою шапку. Положил ладонь на мою голову и помолчал. Он сказал: когда я вырасту, пойму все и не буду судить его строго за этот день. Он сказал еще, чтобы я вошел в дом, вел себя, как мужчина, среди наших гостей...

Чубур и председатель сидели рядом по правую сторону от тамады, а дальше по кругу расположилось по старшинству больше десятка наших аульчан. Я не помню, о чем говорили, какие произносились тосты, чем закусывали гости, пока варилось мясо, и чем угощал меня Чубур, заставив сесть между собой и председателем. Ничего не слыша, ничего не замечая, не запоминая, я сидел между ними, стараясь их обоих не касаться, не беспокоить. Что произошло дальше, после того, как подали мясо, запомнил все до мелочей, остро, надолго.

У Чубура боли в пояснице не было.

Проглотив первый кусок, он стал хвалить мясо, его волшебное целительное свойство, подействовавшее на него немедленно, и это удивительное действие мяса, сказал Чубур, он может сию минуту всем продемонстрировать. Пусть только хлопают посильнее в ладоши, пусть хлопают, не жалея рук. Сидевший до сих пор недвижно Чубур выскочил из-за стола, лихо вскрикнул и, сам себе подпевая, стал бурно отплясывать лезгинку. Все хлопали в ладоши, молчали, смотрели на отца. Я тоже смотрел на отца. Отец был спокоен, дождался, пока Чубур отпляшет, и потом объявил, что он Чубура знает давно, знает как пять своих пальцев и сразу понял уловку Чубура, только слепой не мог видеть, что он здоров.

Но Чубур был его дорогой гость, и все собравшиеся — его дорогие гости, и пусть сегодняшняя еда пойдет им всем на здоровье.

Потом Чубур сел, смахнул со лба пот, опрокинул стопку, разрезал на маленькие части то, что было в его тарелке, насадил большой кусок на вилку и протянул мне.

Это было дымящееся мясо Элии.

— Ешь,— сказал Чубур,— будешь крепким! — А потом он пристальней взглянул на меня и вдруг заявил: — Могу спорить, парень, у тебя по поведению никогда не было ниже пятерки. С плюсом!

— Почему? — спросил я.

— Потому что гладкий,— объяснил Чубур.— Смирно сидеть умеешь. Никого локтем не заденешь...— Чубур положил в рот кусок, пожевал, проглотил.— А сегодня ты из школы прибыл, могу спорить, на парохонке,— так назвал Чубур, видимо, двойку.— Иначе почему ты туманный такой целый день? Математику я, помню, плохо тянул... По поведению пять — дело несложное. А математика труд, конечно, любит. Трудись. Труд из лентяя математика делает. А из обезьяны, говорят, он человека даже сделал.

— Нет! — сказал я.

— Не слышал разве? Это мы не проходили, это нам не задавали...

— Слышал,— сказал я.— Только не согласен, что труд из обезьяны человека сделал. Гориллу он сделал!

— А как получился человек? — спросил Чубур.

— А человек еще не получился,— сказал я,— горилла получилась.

— Неважно о себе думаешь,— сказал Чубур.— А ты не слышал, что люди — боги? Если человека не называть человеком, другое имя ему — бог. Ты, маленькая мартышка,— тоже бог.

— Нет. Я — горилла. Маленькая горилла.

— А мы, значит, большие гориллы?
— Да.
— Я тоже?
— Да.
— А отец твой и эти люди?..

Я знал, что лицо мое сейчас красное. Чубуру, видимо, становилось неприятно смотреть на меня. Я вскочил, как он сам недавно вскакивал, отбежал в дальний угол комнаты, чтобы хорошо видеть сидящих, чтобы и они хорошо меня видели.

— Да! — сказал я.— Все гориллы! — И, не отрывая взгляда от Чубура и в то же время видя всех остальных, я прокричал стихи о горилле, стихи, которые полностью, оказывается, заучились и сами собой вспомнились, когда я увидел серебряную вилку в руках Чубура, которую он протягивал мне.

Я знал, вид у меня был глупый. Но выбежал во двор я не поэтому: я не мог больше оставаться в доме.

— Ого! — качал головой мне вслед Чубур.— У ежика колючки вырастают. Ежик колоться может...

Я сижу в сарае.

Смотрю на подковы и ненужную теперь сбрую. Мне плохо.

Пришла в сарай мачеха, хочет знать, почему мне плохо. Я не могу говорить — не поймет. Она предала отца. Пусть добра ему хотела, все равно предала. Отец поверил, а я понял, я понял, что все выдумано не одним Чубуром, а вдвоем с мачехой или одной мачехой. Впервые я подумал, что меня поняла бы родная мать, если бы жива была. И бабушка поняла бы. Я им сказал бы: мне плохо, потому что я боюсь. Может, мы боги, самый ничтожный из нас — бог на земле. Мы можем сварить или изжарить все, что живет на суше и в море. У нас власть надо всем. И эта власть мне страшна. Мне хочется, нужно для моего спокойствия, для необходимого мне мужества, бесстрашия перед жизнью, чтобы было в мире что-то такое, к чему человек боялся бы прикоснуться, грубо толкнуть локтем, наступить пятой, унизить, чтобы самому возвыситься еще больше.

Я им сказал бы: боюсь и ветра. Боюсь, что однажды в зимний день, закатный час, под свист такого невеселого ветра могут исчезнуть вдруг с лица земли, как конский дух из этого сарая, все милые нам краски и запахи, и мир для меня, для всех нас останется бесцветен, бездушен и пуст.

Многое я им сказал бы еще, и они бы поняли. Больше никто не поймет, как мне плохо и почему плохо. И отец не поймет. Он тоже предал. Предал Элию. И я, его сын, боюсь тоже кого-нибудь когда-нибудь предать, хотя сейчас не чувствую себя родной ему веткой. И отца не чувствую ни зеленым сильным деревом, ни куском могучей горы. Он был, как скала, но он раскололся, разбился на куски. Я кажусь себе одним из этих кусков. И боюсь, что меня тоже когда-нибудь разобьют на еще более мелкие куски, будут разбивать потом все мельче, пока не стану пылью, песком.

Отец сказал: когда вырасту, все пойму, все прощу.

Думаю — нужно ли понимать все, если потом прощаешь все?

Сейчас я не пойму, почему не мог остаться снег на нашем дворе белым? И мне плохо, мне кажется — и за этим алым кругом течет, уйдя под снег, кровь Элии. Течет, дымясь, горячая красная кровь по всему двору, по всем улицам, под всеми белыми сугробами, которые без устали наметает январский ветер. Непонятно только, почему не растает подогретый снизу холодный снег?..

...Снова вошел отец. Постоял надо мною. Потом сел рядом. И сидел долго. Глаз не поднимал, боялся, наверное, увидеть висящие перед ним на бечевке восемь новых стальных подков.

Отец, я знаю, хотел сейчас что-нибудь от меня услышать. Но я молчал. Тогда он встал и снова пошел в дом.

Шел медленно. Он и сейчас, уходя к поющим людям, хотел что-нибудь от меня услышать.

Но я ничего не мог сказать.

Из нашей кунацкой неслась дружная песня.

«Когда вырастешь — все поймешь». Я запомнил твои слова, отец. Сейчас я взрослый. Тебя уже нет. Но я говорю тебе: «Ты, как всегда, был прав».

Я вырос, и теперь никого не могу винить за тот невеселый день. Теперь я говорю: «Ни передо мной, ни друг перед другом вы все не виноваты. Вы жили не в моем, а в своем взрослом мире. И хорошо друг друга понимая, помогали друг другу блюсти законы не моего, а своего мира. Не виновата была мачеха, потому что любила тебя. Не виноваты были ни Чубур, ни председатель, ни тракторист Сюлемен, ни ты. Оттого, наверное, вы и пели так дружно. Чубур, любя, обманул тебя, но пел. Ты, обманутый, тоже пел, потому что его обман спас тебя от вины перед Элией.

И если бы мне тогда было не двенадцать лет, может быть, и я пел бы с вами.

Да, отец, ты оказался прав. Я вырос. Все понял. Все простил.

Но только почему и теперь, через столько лет, не может оставаться для меня светлым и тихим тот мой час, тот мой миг, когда оживает вдруг память и я вижу, как, не чуя под собой земли, мчится по заснеженным улицам тонконогая белая лошадь?!

И почему она направляет свой стремительный бег не ко мне, а уносится прочь от меня, все дальше и дальше, пока не исчезнет, и я ей могу сказать только «прощай», как говорят детству или первой любви?!

Перевел с карачаевского автор.

Новогоднее ралли-стоп

Пл. Маяковского. 3 ч. дня.
Ты в четырех машинах впереди меня.
Волга. Москвич. Рафик.
Красный зад с табличкою «проба».
Трафик.
Пробка.

Постовой с микрофоном —
как эстрадный трагик.
Шелот. Робкое дыханье. Трели соловья.
Солот. Ролот. Долуханова.
Ты в трех машиках влереди меня.
Трафик.

До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до-ре.
100 ре-ТВ-домико-сык в МИСИ-неси 100 ре.

Три часа до Нового года.
Пл. Пушкика. Нет обгока.
Пушкик. Фет. Барков. Переделков. Улаковкик.
Нет ларковки.
Пробка.

Мысли:
не завелись бы в кардаке мыши.

2 часа до Нового года.
Пл. Пушкина. Калоты, калоты —
теснее, чем клавиши
или места на Ваганьковском кладбище.

Авто — моя крелость, авторакушка.
Ловушка!
Кого боится Вирджикия Вульф!
Всех, кто сядет влервые за руль.

Старушка лешком обгоняет вас
со скоростью 100 км в час.
По тротуарам кесутся кочные ковбои
с единственной мыслью: кого бы!

Шкоды! Пошехокия!
Пора огракичить скорость лешеходов.
Или ввести едикую.
$^{1}/_{2}$ часа до Нового года.
Ты в двух машинах влереди меня.
О, вечный зад с табличкою «лроба»!
Пробка.

С РАБОТЫ И НА РАБОТУ
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА,
ИЗ ФРУНЗЕ В САРАНСК
НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ ЭРФРАНС.

Одинокий мужчина
меняет машину
в центре Пушкинской площади,
на Жигули той же площади,
но в районе Крымского моста.

Твоя машика луста.

Я тоскую ло силькым глаголам —
жить — думать — дышать — мчать,—
как форвард тоскует ло голу,
когда ококчился матч.

Догкать — обернуться — увидеть —
веркуться — себя лодарить —
кэрушить — возкенавидеть —
разбиться — и благодарить —

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В КАССАХ АЭРОФЛОТА.
НЕ СИДИТЕ БЕЗ ПРИВЯЗНОГО РЕМНЯ —
— умчать тебя к Новому году —
Ты во всех машинах влереди меня.

Нарушу.

Эй, выйдемте все из лакцирей, и из калота,
и из зада с табличкою «лроба».
Наружу!

Шамлакского!!
С Новым годом!!!...
Пробка!

Эрмитаж

«Скрюченный мальчик»
резца Микеланджело,
сжатый, как скрелка лисчебумажная,
что влрессовал в тебя чувственный старец'
Тексты истлели. Скрелка осталась.

Скрелка разогнута в холоде склела,
будто два мрака, сллетекные слело,
дух залредельный и ллотская малость
разъединились. А скрелка осталась.

Благодарю, необъяткый Создатель,
что я мгковенкый твой соглядатай —
Сидоров, Медичи или Борджиа —
скрелочка божья!

Молитва Микеланджело

Боже, ведь я же Твой стебель,
что ж меня отдал толле!
Боже, что я Тебе сделал!
Что я не сделал Тебе!

Другу

Что ты ищешь, лоэт, в кочевье!
Как ло свету ки колеси,
но итоги всегда ллачевны,
даже если оки хороши.

Все в ажуре — дела и личное.
И удача с тобой всегда.
Тебе в кухне готовит яичницу
золотая кинозвезда.

Но, как выйдешь за коновязи,
все высвистывает олять,
что еще до тебя ке назвали
и тебе уже не казвать.

Старинный романс

Заломни этот миг. И молодой шиловник,
и ка Твоем ллече лрививку от него.
Я — вечный Твой лоэт,
и вечкый Твой любовник,
и больше — ничего.

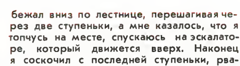
Заломни этот мир,
лока Ты можешь ломкить.
А через тыщу лет и более того,
Ты вскрикнешь,
и в тебя царалкется шиловник...
И больше — ничего.

Юрий
ЯКОВЛЕВ

БАЛЕРИНА ПОЛИТОТДЕЛА

ПОВЕСТЬ

I



Я бежал вниз по лестнице, перешагивая через две ступеньки, а мне казалось, что я топчусь на месте, спускаюсь на эскалаторе, который движется вверх. Наконец я соскочил с последней ступеньки, рванул на себя дверь. Мелкий колючий снег белыми песчинками сек лицо и шею, но я не отвернулся, не поднял воротник, а выбежал на покрытую наледью мостовую и долго пытался остановить машину. Они же пролетали мимо, не замечая меня. Будь я помоложе, плюнул бы на эти машины и побежал бы с Васильевского острова к Аничкову мосту.

Одна машина все же остановилась. Я распахнул дверку, плюхнулся на сиденье и закрыл глаза. Тут только сообразил, что выбежал из дома без шапки, в расстегнутом пальто, а шарф торчит из кармана. Я вытянул шарф и запоздало намотал на шею.

Что со мной? Почему я спешу, словно от того, как скоро приеду, зависит что-то важное в моей жизни? Я скашиваю глаза на шофера: козырек ушанки нависает, как поднятое забрало, нос с горбинкой, верхняя губа закрывает нижнюю, на подбородке рыжеватая щетина. Его обыденное спокойствие не передается мне, напротив, вызывает возмущение. Я отворачиваюсь и смотрю в окно. Белые нити метели опутывают машину, бросаются под колеса, сухо стучат по стеклу.

Только что мне позвонила моя ученица Галя Павлова. В трубке, как в полевом телефоне, стоял треск. Я не сразу узнал Галин голос и никак не мог взять в толк, про какую записку она говорила. Я нетерпеливо крикнул в трубку:

— Чадо мое, объясни, какая записка?

Рисунки
Ю. ЦИШЕВСКОГО.

— Увольнительная,— донеслось сквозь треск.— Балерина политотдела... Ей зачем-то нужен пистолет. Слышите, пистолет!..

Мне показалось, что Галя звонит с другого конца света, из другого времени, но я все же расслышал главное, понял, о какой записке идет речь, и меня ударило током, как много лет назад, когда эта записка впервые попала мне в руки.

В первое мгновение я не поверил Гале. Не мог я потерять эту записку! Но тут вспомнил, что искал какую-то справку, рылся в бумажнике — и вот, на тебе!.. выронил...

С этой запиской я не расставался никогда. Обыкновенная солдатская увольнительная была для меня всемогущим пропуском. Я предъявлял этот документ не комендантским патрулям, не часовым застав и охранений, а самому себе, своей памяти — и сразу проникал в далекие, сокровенные уголки своей молодости. Грудь сдавливали взрывные волны, а сквозь сплошной душный грохот алой жилкой начинала биться мелодия песни про тачанку. И кто-то издалека кричал: «Эй, киндерлейтенант, собирай свою команду, надо ехать к танкистам, они завтра на рассвете уходят в бой...» И я чувствовал необъяснимо родной запах шиповника, перемешанный с горьковатым духом пожара. Это от клочка бумаги пахло шиповником и дымом...

Я закричал в трубку:

— Галя! Ты где?

— Я в танцевальном классе, слышите? Мы с Димой...

— Ждите меня! Никуда не уходите! Берегите записку. Я сейчас!

Сидя в быстрой медленной машине, я представлял себе, как Галя нашла на полу старую дольку бумаги. Может быть, под столом, а может быть, под роялем, у бронзового колесика. Представил, как Дима со странной фамилией Молоденький — станет стариком, а все его будут звать «молоденьким» — заинтересовался запиской, вытянул свой острый носик.

— Что там у тебя?

— Бумажка какая-то, увольнительная.

— Кого-нибудь уволили,— решил Дима.— Интересно, кого?

— Не знаю... Тут написано: «Увольнительная записка». Потом «Фамилия, имя, отчество» — Тамара Самсонова. Ты знаешь Тамару Самсонову?

— Не-ет. Ее уволили? За что? Читай дальше.

— «Звание» — красноармеец. «Занимаемая должность» — балерина политотдела.

— Какая балерина? — наверняка переспросил Дима.

— Я же говорю — «политотдела».

И тут он подошел к Гале и сунул свой носик через ее плечо в записку.

Эту «увольнительную записку» я знаю наизусть. Вижу круглый писарский почерк с нажимом — писарь заполнял бланк «увольнительной» пером № 86 — вижу круглую печать с номером воинской части. В увольнительной значилось, что «балерина политотдела» уволена «до 24.00, 14 июля 1942 года». И дальше шла подпись командира — моя подпись, с длинным хвостиком над буквой «б» — «Корбут». Ребята наверняка узнали мою подпись по хвостику. И наверняка удивились, почему я, педагог, балетмейстер, расписался за командира.

И Дима, слегка заикаясь, сказал:

— Надо позвонить Борису.

Ребята всю жизнь за глаза называют меня Борисом

Но тут, я уверен в этом, Галя случайно перевернула листок и увидела, что на оборотной стороне тоже написано. Только не чернилами — нацарапано карандашом. Слова тусклые, почти что стерлись. Буквы неровные, словно человек учился писать или же писал в машине, которую бросало на ухабах. Но я-то знал, отчего дрожала рука у того, кто писал.

Вот что прочитали мои чада на обороте «увольнительной записки»:

«Милый Вадик, со мной все кончено. Я больше никогда не смогу танцевать. Раздобудь пистолет. Очень прошу. Твоя Тамара».

Ребята, конечно, ничего не поняли, но смутное ощущение беды охватило их.

— Надо скорее отыскать Бориса! — на этот раз уже сказала Галя.

Они подумали: надвигается беда,— и бросились к телефону, уверенные, что их Борис может что-то предпринять. Упустили из виду, что на записке стояла дата — 14 июля 1942 года. И помочь было поздно.

Пока я натягивал пальто, гремел ботинками по лестнице, на скользкой мостовой ловил машину, они наверняка разглядывали записку, изучали ее.

Я представлял себе, как Галя спрашивала:

— Зачем этой балерине пистолет?

И как Дима Молоденький отвечал:

— Она хотела убежать на фронт, раз не могла танцевать.

Галя не соглашалась с ним, все разглядывала поблекшие, видные, как сквозь туман, слова и снова поднимала серые с расширенными зрачками глаза:

— Но она же пишет, что все кончено. Вдруг она хотела застрелиться?

— Нет! — Дима Молоденький побледнел от слова «застрелиться».— Врешь!

— Может быть, она попала в плен к фашистам? И решила, что лучше смерть.

Но Галины рассуждения разбивались о Димину логику:

— Из плена не шлют записок!

— Зачем же тогда стреляться?

— Никто и не думает стреляться.

Когда я вошел в класс с зеркалами, с поручнями вдоль стен, с черным парусом рояльной крышки, никого, кроме Гали, не было. Она сидела на низенькой скамейке, опершись локтями о колени.

Прямо с порога я спросил:

— Где?

Она легко поднялась и бесшумной походкой балерины подошла ко мне.

— Вот.

Листок лежал у нее на ладони, как крыло бабочки. Я взял бесценную записку и торопливо пробежал глазами по строчкам, чтобы удостовериться, что это она.

Потом, как был в пальто, опустился на стул, за один конец стащил шарф и вдруг почувствовал себя таким усталым, словно проделал пешком огромный путь.

Галя пристально смотрела на меня, видимо, стараясь установить связь между мной и той драматической историей, которая смутно угадывалась в словах, выведенных дрожащей рукой. Она ни о чем не расспрашивала, только смотрела большими серыми глазами.

Ее ладная, тоненькая фигурка была строго обтянута черным трико. Маленькая головка, гладкие рыжеватые волосы, собранные в тугой пучок на затылке. Уши аккуратно прижаты, и только розовые моч-

ки слегка отходят в стороны. На нос высыпана щепотка веснушек. Под нижней губой глубокая впадинка и сразу подбородок, поднятый вверх бугорком. Длинная шея с голубой жилкой. Плечи отведены назад. Правая ступня перпендикулярна левой, как в третьей позиции.

Она молчала — моя маленькая балерина, но глаза ее спрашивали, требовали ответа. А я тем временем пытался представить ее в гимнастерке, с рукавами до кончиков пальцев, в пилотке, которая звездочкой упиралась в бровь. В тяжелых сапогах с железными подковками. И стоит она передо мной, как перед командиром, и ждет, когда я подпишу увольнительную и отпущу ее в Ленинград. А на обороте увольнительной записки нет еще страшных слов — «никогда не смогу танцевать», «раздобудь пистолет...» — и они не появятся, потому что время другое. Как этого, другого времени не хватало тогда Тамаре Самсоновой...

Сколько себя помню, я всегда был беловолосым. Еще в школе меня дразнили «седым». «Эй, седой, дай списать задачку!» И я давал. Не обижался на «седого». Напротив, мне даже льстило, что в отличие от других ребят я был седым. Помню, на уроке физики наш сутулый, носастый учитель воскликнул: «Ты не знаешь элементарных понятий! Постыдился бы своих седин!» Но я не стыдился, совершал массу неожиданных поступков, удивлял друзей и ввергал в отчаяние родителей. Например, я стал балетмейстером. И поступил на работу не в театр оперы и балета, а во Дворец пионеров.

Потом командовал минометной ротой. Потом стал киндерлейтенантом...

Если волосы от переживаний меняются в цвете, моим бы следовало потемнеть. Они же остались неизменными, только чуть порыжели, словно их подпалило пламя. Кто знает меня недавно, думает, что я поседел на фронте, в первую зиму блокады... Эх, если бы все переживания отражались только на волосах! Можно было бы при помощи машинки или бритвы освободиться от переживаний и сразу стать счастливым. Мои переживания все при мне, проросли в сердце горькой, жесткой травой. И порой я чувствую вкус этой травы на губах. Неужели эта горе-трава никогда не увянет, не исчезнет, не скроется под снегом?

Все же счастье более надежно уже потому, что человек всегда ждет счастья. А кто же будет жить в надежде на горе?

— Послушай, чадо мое,— оторвавшись от своих мыслей, обратился я к Гале,— ты могла бы расстаться с балетом?

— Нет.— Ее глаза слегка сузились, а локти сильнее прижались к бокам.

— Разве ты бы не нашла в жизни другого занятия?

— Но балет не занятие, он и есть жизнь.

— Ты в этом уверена? Может быть, ты просто не знаешь другого? Только балет?

Мои неожиданные вопросы не смогли ее обескуражить, не потому, что она была уж такая смышленая, для нее и в самом деле не было иной жизни, не могло быть. Она получала по сочинениям тройки, но могла станцевать любой рассказ. Ей было дано это, а другого не было дано.

— Почему вы меня об этом спрашиваете? — вдруг забеспокоилась она.

— Я ищу разницу между тобой...

— ...и балериной политотдела? — закончила она мою мысль.

— Верно. И пока не нахожу.

— Это плохо? — в голосе ее прозвучала тревога.

Я не ответил на Галин вопрос. Я заговорил о другом:

— Послушай, Галя, ты никогда не была на станции Мга?

— Была. Мы с бабушкой ездили за грибами...

— Понимаешь, там стояла моя минометная рота. Ты когда-нибудь видела миномет? Он похож на небольшой телескоп — ствол, направленный в небо. Но мины, которые вырываются из ствола, недолго находятся в небе. Они обрушиваются на землю, и в месте их падения на снегу вспыхивают черные от земли и торфа звезды. И от этих звезд идет пар.

— Красиво?

— Страшно.

— Вы были командиром этих страшных... телескопов?

— Был, пока меня не вызвали в политотдел. Это случилось в марте сорок второго. Я было очень удивился, когда телефонист передал мне приказ явиться на «Эльбрус». Но потом я провел ладонью по щеке — надо ли бриться — и отправился.

— Не представляю себе, как вы могли жить без балета! — вдруг сказала девушка.

— Я сам не представлял. Война все перепутала. Вернее, расставила по своим, военным местам. Но даже война не могла обойтись без балета.

II

— Товарищ полковой комиссар, лейтенант Корбут явился по вашему приказанию.

— Садитесь, Корбут.

Я неловко сел на край стула.

Полковой комиссар Васильев был невысокого роста, краснолицый, бритоголовый, с маленькими внимательными глазами, которые испытующе смотрели на командира минометной роты — то бишь, на меня.

— Давно поседели? — неожиданно спросил он.

— В юности.

— Я думал, на войне... А верно, что вы по специальности балетмейстер?

— Верно,— ответил я и вдруг с удивлением почувствовал, что само понятие «балетмейстер» стало таким далеким, что уже почти не имеет ко мне отношения.

— Потом вы ушли в ополчение. Добровольцем.

Полковой комиссар, видимо, хорошо подготовился к разговору со мной. И я прикидывал в уме, что от меня потребовалось этому бритоголовому комиссару.

— Я поседел в сорок первом,— неожиданно сказал он,— и решил сбрить седину... Так вот что, Корбут, нам нужен балетмейстер. Хотим при политотделе создать небольшую танцевальную группу для обслуживания частей. Отберите способных бойцов и — за дело! — Он широко улыбнулся и спросил: — Как вы на это смотрите?

— Отрицательно,— ответил я.— Чтобы из этих «способных» сделать танцоров, мне потребуется два года.

— Ну, Корбут! Ну, лейтенант! — полковой комиссар вышел из-за стола и приблизился ко мне.

Я тоже встал, одернул гимнастерку и сказал:

— Отправьте меня в роту к моим бойцам. От меня там теперь больше пользы.

— Где от вас больше пользы, нам лучше знать,— комиссар произнес эти слова жестко. Так произнес, что я понял: со мной дело решенное. Он присталь-

но посмотреп на меня и спросил: — Где я вам возьму два года? Через два года война кончится.

Я задумапся... И вдруг в моем сознании мепькнула четкая, неожиданная мысль. Тачанка! Я почему-то сразу вспомнил Аничков мост с четырьмя неукрощенными конями, Дворец пионеров, освещенную сцену и — «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса».

Вот тачанка-танец вырывается из-за купис на необозримый простор сцены. И всем сидящим в зале начинает казаться, что они тоже мчатся следом за тачанкой. Давай, давай! Пулеметная тачанка — все четыре копеса! Нет никаких колес — есть ребячьи ноги, тоненькие, но крепкие, проворные. Они и копеса, они и подковы. Четыре коня вразлет. Гей, гей! Возница натянул вожжи. Пупеметчик — саблю под мышку — и припап к невидимому пулемету. Жмет на гашетку. И все видят, как пулемет трясется, дымится, а ветер срывает огненный язычок с дульного среза. Боевой разворот. Кони взметнулись на дыбы. И снова очередь, похожая на отрывистый звук трубы, вернее, звук трубы, похожий на очередь.

Где командир? Кто подает тачанке неспышные команды: разворот, стоп, огонь? Погоняй, погоняй! Этот командир — я. Я стою за правой кулисой. Еще не военный, а уже командую. Рука вытянута, сжата в кулак. Раз-два! Быстрее! Легче. Легче. Раз и два! Я вижу только руки, ноги, ппечи, глаза. Из них я создал тачанку, в которую все поверили.

Исчезли канделябры, пропапа лепнина дворцового потолка, кресла превратились в седла. И вот уже синеет окоем. Над головами плывут облака, небольшие, серые, похожие на разрывы шрапнели. Ветер гонит по земле пыпь, оркестр звучит как бы издапека, отстап от тачанки. А она, моя танцевальная тачанка, оторвалась от земпи и летит навстречу облакам, похожим на разрывы...

Я смотрел на полкового комиссара и чувствовал, как глаза мои веселеют. А он не понимал, что со мной происходит, не догадывался, что во мне ожила прославленная пионерская тачанка.

— Хорошо,— сказап я.— До войны в Ленинградском Дворце пионеров был прекрасный ансамбль. Я руководип танцевальной группой. Разрешите мне разыскать в городе своих ребят...

— Но-но-но! — Полковой комиссар протестующе выставил руку, взял коня под уздцы и осадил.— Вы предпагаете привести на фронт детей? Под пули и оскопки? Да кто вам дап право рисковать их жизнью!

Я молча смотрел в глаза комиссара и терпеливо ждал, когда он скажет все, что, будь я на его месте, должен был бы сказать тоже. Когда же полковой комиссар умолк, заговорил я:

— Вы считаете, что в городе, окруженном врагами, дети подвергаются меньшей опасности? Или там не рвутся бомбы и снаряды? А сколько ребячьих жизней уносит тихая голодная смерть? Тут мы их еще побережем. Подлечим. Подкормим. Может быть, кое-кому спасем жизнь. А танцоры они превосходные.

— Ну, Корбут! Ну, лейтенант! — снова воскликнул полковой комиссар и заходил по кабинету.

Я почувствовал, что полковой комиссар, если и не соглашается, то по крайней мере категорически не отвергает мое дерзкое предпожение. И теперь он уж спорит не со мной, а с самим собой, потому что, видимо, привык прежде, чем принимать решение, обдумать его: побросать с руки на руку, как горячую картошку.

— Ну, Корбут! Ну, учитепь танцев!

Он весь был в движении, работапа не топько его мысль, но все его падное тепо двигалось, помогапо мысли.

И вдруг он остановился.

— Согласен! — сказап он.— Ответственность за зту операцию будем делить поровну. Идет?

Его маленькие глаза стапи еще меньше, и в них зажглось какое-то озорное, доброе лукавство, которое безошибочно отличает человека от солдафона.

— Попучайте предписание и отправляйтесь в Ленинград. Ну, Корбут! Ну, киндерлейтенант!

Так родипась моя новая кличка «киндерлейтенант», что в переводе на русский язык означает «детский пейтенант».

На мне полушубок, валенки, меховые рукавицы. В кармане у меня предписание: пропуск в Ленинград. Я иду по Невскому от Московского вокзала, куда меня доставил поезд. Паровоз и один вагон. Маленький поезд, удобный, чтобы уходить из-под обстрела.

Я не был в родном городе полгода, но мне кажется, что прошла целая вечность. Эпоха! Эта страшная, бесконечно длинная зпоха превратила цветущий город в какие-то мертвые, педяные Помпеи.

Кажется, не снег, а белый остывший пепел занес Невский проспект. Трамваи замерли. Ослепли. Онемели. Стапи похожи на ископаемых существ, сохранившихся в вечной мерзлоте. Не верилось, что когда-то они пели на поворотах, звенели в свои, родные слуху звоночки, издалека светили разноцветными огнями: у каждого маршрута свой цвет.

Наши дорогие «четверки», «девятки», «семерки». «Вы выходите у Пяти углов?». «Следующий Невский». «Кто выходит у Кирочной?». Но зто было в той далекой зпохе, которую теперь называют «мирным временем».

Я иду по узкой тропке, проложенной в снежных завалах Невского проспекта. Мимо «Колизея», мимо «Художественного», мимо «Новостей дня», к «Титану». Эти кинотеатры как бы вехи моей жизни, я здесь смотрел «Путевку в жизнь», «Чапаева», «Дети капитана Гранта», выпуски хроники из Испании. Теперь они погасли и вымерзли. Нет афиш. Нет огней. А темные залы, вероятно, похожи на огромные склепы.

И вдруг Аничков мост без клодтовских коней. Куда девались дикие кони, которых бронзовые атлеты пытаются укротить? Погибли? Умчались в бой? Вернутся пи они когда-нибудь на свои гордые пьедестапы? Или их где-нибудь подо Мгой расстреляют из противотанковых пушек прямой наводкой, бронебойными...

По радио звучит метроном. Разрушает тягостное безмолвие. Может быть, зто не метроном, а кто-то приложил микрофон к сердцу ленинградца и усилил голос сердца так, что его слышит весь город?

Голодный понос... Дистрофия... Голод обвил колючей проволокой внутренности людей. Тихие, невидимые пули подкашивают их. Чьего-то сына. Чьего-то деда. Чью-то сестру. Иногда — бесшумные, иногда — гремящие, огненные оскопки снарядов и бомб.

Но Ленинград не Помпея.

Мне казалось, что зто все не на самом деле, а снится в каком-то страшном сне. Снятся сугробы... Снятся люди-призраки... Пусты пьедесталы на Аничковом мосту... Удары сердца, которые, как музыку, транслируют по радио. Это мое сердце, сжимаясь от боли, звучит на весь родной город.

У меня в кармане предписание политотдела и список адресов. Я обхожу эти адреса, как почтальон. Как самый несчастный почтальон, который не может застать дома ни одного адресата. Нет адресатов. Кто эвакуировался, кто в больнице, кто выбыл навсегда.

Я иду и в такт своим шагам бормочу стихи Жуковского:

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик...

Я, вроде того барабанщика, бью тревогу. Я бужу не егерей и не гренадеров, не гусар и не кирасир. Я бужу маленьких танцоров из ансамбля ленинградского Дворца пионеров. Бужу прославленную «Тачанку».

Эх, тачанка-ростовчанка... Наша гордость и краса... Я зову тебя. Не просто зову — я, пока еще лейтенант, командир минометной роты, приказываю: мчись скорей ко мне из той прекрасной эпохи, когда на Аничковом мосту еще стояли кони. Вырвись из-за кулис на необозримый простор!

Леню Иосимова — лучшего танцора ансамбля Дворца пионеров я не застал. Всего на десять дней опоздал я. Пришел бы раньше, может быть, помог бы ему выжить...

В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы...

Нет у меня никакой трубы, нет барабана. Я иду по скользкой мартовской стежке, протоптанной по улице, как в лесу или в поле. Потом сворачиваю в арку дома, где в половине окон вместо стекол — фанера. Дверь висит на одной петле, жалобно поскрипывает, когда дует ветер. Ранена.

На лестнице выбиты все стекла, а может быть, разобраны жильцами. На площадки намело островки снега. Лестница мрачная. Кажется, сейчас, треща крыльями, вылетит летучая мышь. Поднимаюсь на третий этаж. Квартира тридцать. Костяная кнопка звонка. Жму изо всех сил. Звонок молчит, умер. Тогда я стучу долго и отчаянно. От этого стука болит кулак. И вдруг дверь открывается. На меня смотрит высокая, сизоволосая старуха, а может быть, просто немолодая женщина, а может быть, и молодая, сломленная блокадой. Она стоит передо мной и как бы не видит меня. Ничего не спрашивает.

Я говорю:

— Тамара Самсонова.

Говорю с опаской, потому что боюсь услышать в ответ: уехала или еще страшнее... Но она, сизоволосая, ничего не говорит. Она поднимает руку — тяжело поднимает — и указывает на дверь в коридоре. Значит, Тамара есть.

Я так рад, что она есть! Пересекаю прихожую, берусь за ручку и, позабыв постучать, распахиваю дверь.

Мне в глаза бьет солнце. Оно такое слепящее — ведь на дворе март! — что кажется, должно было бы греть. Но оно не греет. Словно не дозрело, раньше времени запущено в небо. А может быть, оно стало таким, пережив блокадную зиму, наше бедное ленинградское солнышко.

Оно светит, и в его лучах я вижу девочку, стоящую в эмалированном тазу, на круглом донышке — худенькую, вытянутую, босоногую, вообще нагую. Девочка льет себе на плечи теплую воду, которую черпает из ведра, что дымится рядом на круглой печурке системы «буржуйка». Теплая живая вода течет по узким плечам, по глубокой ложбинке, что пролегла между остро выступающими лопатками, по ребрышкам, едва обтянутым кожей, по худым, совсем детским бедрам. Она, видимо, не мылась целую вечность и вот набралась сил, распилила последний стул, нагрела воды. Она выливает на себя ковшик и, вероятно, испытывает пьянящее блаженство и поэтому не замечает моего появления — не услышала, как я открыл дверь, вошел. А я со щемящей болью разглядываю ее желтое, иссушенное голодом увядшее тельце, и мне кажется, что за год, который мы не виделись, она не выросла, а стала меньше. Теплая вода течет благословенными ручейками по острым позвонкам, по сухоньким ягодицам...

И вдруг — я не знаю, как это произошло,— она чувствует, что в комнате кто-то есть, обнаруживает мое присутствие. И сразу скрещивает руки на груди и опускается на колени, чтобы было меньше незащищенной наготы.

— Кто там?

— Это я, Тамара. Корбут.

— Корбут?!

Не верит. Поворачивает голову и разглядывает меня через плечо. То ли она не признает меня, то ли не радуется мне, потому что отучилась радоваться. Смотрит на меня, как на призрак, не верит в реальность моего появления. К тому же я одет в военное. Таким она меня никогда не видела.

И вдруг, как бы очнувшись, восклицает:

— Ой, не смотрите! Закройте глаза! Вы живы?

Она опускает голову, прячет подбородок в руки, скрещенные на груди. И я вижу, как ее шея краснеет. И ее розовые пятки упираются в борт таза.

Я закрываю глаза и говорю:

— Я жив, Тамара. Пришел за тобой.

— Вы закрыли глаза?

— Закрыл.

Я слышу бульканье воды. Торопливое. Она спешит. Вода шлепается на пол.

— Как хорошо, что вы живы! — Она снова произносит слово «живы», ей нравится произносить его.— Вы живы! — И снова булькает вода.

Я чувствую, что ей трудно мыться. Обессилела она от такой нагрузки. Вода все чаще проливается мимо, не попадает, куда нужно. Плюхается на пол и застывает маленькими озерцами. И тут я вспоминаю, что она девчонка, моя ученица и, значит, не может быть никаких стеснений. И я говорю решительно:

— Тамара, позволь я тебя домою. Слышишь?

— Вы не открыли глаза?

— Я помою тебя с закрытыми глазами.

Она медлит с ответом. Никак не может решить — пристойно ли, чтобы молодой мужчина мыл ее. Касался ее тела, пусть даже с закрытыми глазами. Но у самой, видно, иссякли силы, не может она сама справиться со своим телом, с водой и с мылом. Я не открываю глаз, но догадываюсь, что она краснеет сильней, наклоняет голову ниже и упирается подбородком между ключиц. Она же девушка. Уже два лета купается не в трусиках, а в купальном костюме, который строго обтягивает тело и слегка вздувается на груди двумя робкими бугорками.

Наконец доверие ко мне побеждает. И она через силу говорит:

— Только спину... мне не дотянуться.

Я быстро расстегиваю портупею. Сбрасываю теплый, пахнущий овчиной полушубок. Я закатываю рукава гимнастерки и, не открывая глаз — нельзя же нарушить слово! — иду вперед, выставив руки, как слепой. Мне на память приходит почему-то святая Инесса, которая скрывает свою наготу длинными до земли волосами. А у Тамары волосы короткие. Под-

стрижена под мальчишку. Я касаюсь протянутой рукой теплого, влажного плеча и чувствую, как она вздрагивает.

— Давай мыло.

Она протягивает мне маленький скользкий обмылок — это, оказывается, кусочек мраморного мыла, белого в синюю крапинку, каким до войны стирали белье. Я ловлю его, как живое. И вот я уже вожу ладонью и мылом по Тамариной спине. Теперь я чувствую острые лопатки, выступающие наружу позвонки, похожие на клавиши ребрышки, едва покрытые кожей. Хорошо, что у меня закрыты глаза и я не вижу вблизи ее спину. Тамара угадывает мои мысли. Спрашивает:

— Я очень худая?

— Ты нормальная,— отвечаю.— Балерина и не должна быть полной.

Она пропускает мои слова мимо ушей и говорит:

— По-моему, я худая, как старуха. Борис Владимирович, это пройдет?

Я лью воду и чувствую, как ее знобит. От стыда и холода. От мучительного сознания, что она не может даже домыть себя. А я лью воду и смываю ладонью мыло. И не отдаю себе отчета, что я делаю: то ли играю с Тамарой в жмурки, то ли ласкаю ее, жалею.

— Я уже вторую неделю одна,— говорит она.— Зачем вы пришли, Борис Владимирович?

— Сейчас все расскажу! — говорю я и поднимаю с пола свой полушубок.

Потом заворачиваю Тамару в овчину, как дитя. И поднимаю на руки. Она оказывается удивительно легкой. Мне становится страшно этой легкости. Я несу ее на диван, и тут мы смотрим друг другу в глаза. Она не выдерживает моего взгляда и говорит:

— Простите, мне так стыдно!

— Глупости! — отрезаю я резко, даже грубо.— С каких пор ты начала стыдиться меня, чадо мое? Теперь лежи и сохни. Дело вот какое. При политотделе армии создается танцевальная группа. Я решил собрать наших ребят... кто есть... оказался на месте.

Я думал, она, наконец, обрадуется, оживится, начнет расспрашивать про танцевальную группу. А она смотрит на меня своими большими, увеличенными от худобы глазами и спрашивает:

— Зачем это? Кому надо? Да и танцевать-то я... не смогу и не хочу.

— Захочешь! — говорю я.— Тамара Самсонова, да не захочет танцевать!

— Нет больше Тамары Самсоновой,— говорит она, кутаясь в теплую овчину.— Я уже совсем другая... блокадная девчонка.

— Ты не другая.— Я опустился рядом с ней на диван.— Жизнь другая, а ты прежняя. И никаких блокадных девчонок! Одевайся, я отвернусь к окну.

III

Галя смотрела на меня непонимающими глазами.

Эти глаза никогда не видели Невский, занесенный снегом, где по этим сугробам змеилась небольшая узкая тропа. Весь Невский уместился на этой тропке — последнем ручейке жизни.

Не видела Галя, как падает человек и больше не поднимается. Раны нет. Крови нет. Упал, сраженный пулей-невидимкой... Дистрофия. Голодный понос. Утрата интереса к жизни... Трубы остыли, не дымят. Уставились черными безжизненными жерлами в зенит, а над ними, в сером, загустевшем, как вода, небе, серебристые рыбы аэростатов ограждения: город погрузился на дно, над ним плывут рыбы, а ночью сквозь толщу воды чуть поблескивают звезды... Но маленькие печурки выставили свои трубы в форточки-амбразуры, и над ними теплятся слабые призрачные дымки. Словно война разменяла могучие городские дымы на множество мелких, слабых, немощных. До войны люди приходили к соседям на чай, на пирог. Теперь приходят на тепло. Люди остаются людьми. Понимаешь, Галя?

Трудно понять, если глаза не видели этой Невской тропки, на которой люди жили и умирали. Так и лежали на обочине, Галя!

— Зачем вы мне об этом рассказываете?

— Разве тебе это не интересно?

— Мне страшно.

— Ты должна побороть этот страх.

— Зачем? Чтобы быть похожей на нее, на балерину политотдела? Разве обязательно быть похожей на нее? Она хорошо танцевала?

Эта девочка атаковала меня своими настойчивыми вопросами, на которые не ответишь однозначно: да — нет. Не ответишь на них и рассуждениями. Можно ответить только жизнью. Своей либо чужой. Чья жизнь больше подходит для ответа.

В какое-то мгновение мне показалось, что я мысленно надел на Галю не ту военную форму, которую носила Тамара Самсонова, а всего лишь танцевальный костюм из «Тачанки».

Нас семеро: шесть ребят и я. Мы идем, вернее, плетемся по ледяным сугробам Невского. Вадик не может идти, мы везем его на саночках. Снег под саночками поскрипывает. А под снегом лежат безжизненные трамвайные рельсы. Все забыли о них, забыли, как они поют и гудят под колесами трамваев — два веселых городских ручейка... Рослый Сережа согнулся, но не сдается, тащит. Ему помогает Шурик, самый маленький, самый проворный в нашем дворцовом ансамбле. Сейчас его качает из стороны в сторону, но он не жалуется, тащит. Еще приговаривает: «Ходить надо уметь... Ходить надо любить...» Рассудительный малый. Девчонки Тамара Самсонова, Алла Петунина и Женя Спастная предлагают сменить мальчишек. Но те не соглашаются. Тянут саночки до тех пор, пока я их не прогоняю и не впрягаюсь сам. Все, что осталось от нашей «Тачанки». Но главное, не падать, двигаться, верить, что «застрочит из пулемета пулеметчик молодой».

Я наблюдаю за Тамарой. Ее маленькая головка укутана большим маминым платком. Платок делает ее взрослой. Тамара не шутит, не улыбается. Молчит. Она поглощена мыслями о том, что происходит с ней, с ее товарищами. Наверное, все так невероятно, что кажется сном. Она только беспокоится, как бы Вадик не замерз. Трясет его за плечо, не дает уснуть.

— Ты что? — спрашивает Вадик.

— Не спи!

— Я не сплю. Просто тяжело с открытыми глазами. Зря вы меня везете. Не смогу я танцевать. Никогда не смогу.

— Молчи,— говорит Сережа.— Сможешь. Мы поможем тебе...

И снова тихо. Скрип саней. До Московского вокзала недалеко. Улица Марата, следующая Пуш-

кинская. Это до войны было недалеко, а сейчас...

Наконец девчонкам удалось прогнать мальчишек. Те, фырча и огрызаясь, отдали им веревочку. Ворчать-то они ворчат, но силенки совсем иссякли. Шурик незаметно держится за Сережу.

Как хорошо, что я разыскал своих ребят. Но их только шестеро из сорока! Где остальные? Кто из моих питомцев погиб, кто эвакуировался? Когда-нибудь узнаем.

— Ну, киндерлейтенант, показывай свое войско!

Полковой комиссар Васильев заложил ладони под ремень, расправляет суконную гимнастерку, и его маленькие глазки весело разглядывают ребят. Отчего у него такое хорошее настроение? Почему он окрестил меня «киндерлейтенантом»? Так вот, ни с того ни с сего.

Мои ребята стоят в строю. Если это только можно назвать строем. Сережа Марков в своем коротком пальто и в рыжем треухе, который налезает ему на глаза и совсем скрывает брови. Вадик Ложбинский поверх старого лыжного костюма напялил пальто и уже успел оторвать половину пуговиц, а на голове у него спортивная шапочка с помпоном. Руки он — это в строю-то! — упорно держит в карманах, мерзнут у него руки, даже в помещении. Маленький Шурик Грачев в дедовских валенках и в ватнике до колен, подпоясанном ремнем от брюк, выглядит этаким мужичком с ноготок. Пялит глаза на комиссара. А валенки его — носками вместе, пятками врозь. Это мужская половина моего войска. Дальше стоят девочки. Тамара в своем огромном платке, которого хватило бы закрыть и голову и грудь, и опоясаться им, и завязать на животе узлом. Под платком шубка из козьего меха, на ногах ботинки. Женя Сластная в пальто и в «эскимоске»— шапке с длинными ушами, заменяющими шарф: она обмотала ими шею. Алла Петунина в пальто с меховым воротником и в меховой шапочке. У нее под шапочкой был шерстяной платок, но она успела снять его и сунуть в карман. И теперь платок торчит из кармана. Все стоят, смотрят на полкового комиссара, ждут, что с ними будет дальше.

— Хорошо войско,— говорит он.— Не боитесь фронта?

Ребята молчат. Ошеломлены переменами, происшедшими в их жизни, не знают, что отвечать. Неужели бывает еще страшнее, чем фугаски, горящие дома, осколки снарядов, холод, голодный понос?..

Не получив ответа, комиссар спрашивает:

— Танцевать сможете?

И вдруг Вадик — не кто-нибудь другой, а Вадик — делает шаг вперед и говорит:

— Сможем!

И вскоре состоялся первый концерт.

Эх, тачанка-ростовчанка!.. Что же ты, тачанка, так медленно берешь разгон? То ли повозка стала непомерно тяжелой, то ли кони ослабли. Молчит пулемет. Возница опустил вожжи.

Наш баянист дядя Паша прижался щекой к баяну. Тонкими, сухими пальцами пробегает по костяшкам клавиш. Хочет помочь тачанке музыкой. Кони движутся медленно. Словно возвращаются из боя усталые, взмыленные, тяжело дыша, опустив головы.

Мы даем первый концерт для медработников нашей армии. В актовом зале школы. Зал не топлен. Сестры, фельдшеры, военврачи сидят в тулупах, в шапках. От дыхания стоит пар.

Я притаился за правой кулисой. Закусил губу. Растерян. Не знаю, как помочь своей старой «Тачанке»: если она не помчится, все погибло. У меня перед глазами Невский с мертвыми трамваями. Саночки, запряженные четырьмя ребятами. Вадик в санях. Тусклоглазый. Погасший. Ему все равно, куда его везут, зачем. Тамара держит его за плечи, идет сзади... Но и тогда я верил, что тачанка помчится. А сейчас, кажется, все рухнет. Полковой комиссар скажет: «Ну, Корбут! Ну, киндерлейтенант!»

Давайте, ребятки. Легонько. Только обозначьте движения. Они медленно передвигаются по сцене — шестеро ребят в форме буденовцев, красные нашивки поперек груди, на головах суконные островерхие шлемы. И вся эта довоенная амуниция оказалась впору. А раньше каждый год перешивали. Не выросли мои чада, не вытянулись, не стали шире в плечах. Но если вы не станцуете — все погибло. А вернуть вас в ваши ледяные голодные гнезда я не смогу.

Но вот артисты как бы немного разогрелись. Кони задвигались быстрее. Возница замахал кнутом. Пулеметчик оживился — молодец, Тамара! — «застрочил из пулемета пулеметчик молодой».

Зрители замерли. Не дышат. На глазах у женщин — слезы. Не легкое дело — смотреть, как танцуют блокадные дети. А они, медработники, лучше других понимают, каких усилий и боли стоит этот танец.

Танцуют, танцуют! Помнят все движения. Только нет легкости. Да в бою и не может быть легкости! Вадик так разошелся, что сделал глубокий выпад: припал к пулемету. Молодец! А кажется недавно мы везли его на санях с блокадным диагнозом: «Утратил интерес к жизни». Хорошо, хорошо, Вадик! Я уже не думаю, а произношу вслух. Может быть, даже кричу: «Хорошо, Вадик!» Теперь хватит, поднимайся! А подняться он не может, нет сил, упал на колено... Остановилась тачанка, припала на одно колесо. Кони уронили головы. Ранило возницу. А дядя Паша еще играл по инерции. Потом баян умолк.

Зал был тих. Словно не было в нем зрителей. Никто не хлопал, никто не переговаривался. Только беззвучный пар от дыхания...

И тогда встал полковой комиссар, одернул гимнастерку, поднялся на сцену, где ребята помогали встать Вадику.

— Запрещаю продолжать концерт! — глуховатым голосом сказал он.— Всех танцоров — в госпиталь.

Зал зааплодировал. Было непонятно, чему аплодируют люди: «Тачанке» или приказу полкового комиссара.

А когда хлопки замерли и зрители уже начали подниматься с мест, снова зазвучал баян, и я увидел, как Тамара Самсонова подошла к полной фельдшерице, стоявшей у самой сцены, и сказала тихо, чтобы никто не слышал:

— Поцелуйте меня в обе щеки, только покрепче.

У фельдшерицы глаза округлились от удивления. Но спрашивать, зачем, она не стала, чмокнула ее в обе щеки ярко накрашенными губами.

А Тамара проворно размазала следы помады по щекам. И стала румяной. Не бывают такие худые, со впалыми щеками — и румяные. Она же наперекор всему стала. Дядя Паша уже выводил проигрыш цыганского танца. И на сцену вышла Тамара.

Все произошло так быстро, я и сообразить не успел, что она задумала, а полковой комиссар, только что отдавший приказ отменить концерт, расте-

рялся и выжидал, что будет дальше. А дальше Тамара развела руки и притопнула каблучком. Ее грудь поднималась и резко опадала, но зто было заметно только мне, в зале зтого не видели. Она шла по кругу, и плечи, ее худенькие плечи расправлены, головка с пепельными, коротко подстриженными волосами гордо вскинута. На ней не было ни длинной юбки, ни яркой блузы с широкими рукавами, ни звенящих монист. Гимнастерка, солдатские сапоги, суконный буденовский шлем с малиновой звездой. Нет, на сцене появилась не цыганка, а молоденький боец-буденовец, после боя решивший станцевать для товарищей цыганочку. Большеглазый, с ввалившимися щеками, на которых бог весть отчего вспыхнул румянец. Раз рукой по каблучку, два... «Дядя Паша, почаще!»

Я слышу зто «почаще» и показываю дяде Паше кулак. Но он не видит моего кулака. Прижался щекой к баяну и смотрит одним глазом, зорким, внимательным, на который налезает густая рыжая бровь. Он как бы прислушивается не к баяну, а к сердцу Тамары, выбирает ритм, чтобы не загнать сердце.

За кулисой еще никак не может отдышаться разбитая тачанка. Вадик сидит на стуле. Уронил голову. Руки повисли вдоль тела. Но пусть тачанку перевернуло взрывом, пулеметчик-Тамара жив. Танцует — и, значит, тачанка жива.

Я смотрю то на Тамару, то на полкового комиссара. Тамара держится. Полковой комиссар не бушует, даже перестал тереть затылок. Забыл о своем приказе. Плечи его опустились, и он, полковой комиссар, уже не старший начальник — искусство уравняло его с рядовыми красноармейцами, медсестрами, военврачами... Они сидят вокруг. Притихли, покоренные не то искусством, не то мужеством Тамары Самсоновой.

А я замер за правой кулисой, напряжен до предела. Я-то знаю, что под зтой гимнастеркой — кожа да косточки, лопатки остро выступают. Только бы Тамара не упала! Только бы... Эй, дядя Паша, кончай свою музыку! Если она упадет, то уже не поднимется. Но я не смею крикнуть «Хватит!», не смею скомандовать «Отставить!». Потому что, когда творится высокое искусстао, никто не вправе командовать.

Я закрыл глаза, а открыл их только, когда в зале зазвучали аплодисменты. Занавес закрылся. Тамара все еще стояла на месте, не в силах сделать шага. Может быть, даже не слышала, как хлопают в зале медсестры, хлопают и... плачут. Тамара держится рукой за занавес и бледными губами шепчет:

— Помогите мне... дойти.

И только румянец — два поцелуя, размазанных по щекам,— как военный камуфляж, вводит в заблуждение.

IV

Политотдел армии помещался в двухзтажном кирпичном здании пригородной школы, что стояла на берегу Невы. Чтобы алый кирпич не очень бросался в глаза, его замазали побелкой, и казалось, что школу занесло нетающим снегом. На окнах огромные знаки умножения — крест-накрест бумажные полосы. Но ни побелка, ни бумажные кресты не могли уберечь бывшую школу от фашистских снарядов. Правый флигель был разбит, исковеркан, покрыт ядовитой черной копотью.

А левый был цел, и в нем, в одном из классов, поместили нашу танцевальную группу. Парты сдвинули к стене, установили печурку с длинной трубой, выведенной в форточку, расставили железные койки, между «мужской» и «женской» половинами натянули несколько плащ-палаток.

Черная доска как висела в классе в мирное время, так и осталась. Большое ночное окно в прошлое, она напоминала ребятам их школу, их жизнь без тревог, бомбежек, голода...

На доске мелом было написано: «Завтра подъем в шесть, завтрак в семь, политинформация в семь тридцать, зкзерсис в восемь, выезд на концерт в десять».

Был вечер. Девочки сидели с ногами на койках, а мальчики раскачивались на табуретках. Где-то очень далеко била артиллерия, и стекла не звенели, а едва вздрагивали. Никто не обращал на зто внимания, привыкли.

— Хотите, я станцую партию Одетты? — неожиданно спросила Тамара.

Кто-то усмехнулся, кто-то сказал: «Давай!» И невидимая дирижерская палочка взлетела, подала невидимому оркестру знак «Внимание!». Огромный зал, тоже невидимый, стал затихать, умолк, перестал сопеть и кашлять, затаился. Люстра, главная театральная люстра, зажмурилась, и лампочки сперва превратились в красные угольки, потом потемнели. И грянула музыка — неслышная. Поплыл занавес. Вспыхнули софиты...

А Тамара уже кружилась, из бывшего класса с баррикадой парт перенеслась на сцену настоящего театра оперы и балета. Она встала на носочки и как бы оторвалась от земли. Она не танцевала, а рассказывала о своей любви, признавалась в любви, пела любовь каждым движением.

Ватник, грубый солдатский ватник и просторные шаровары из чертовой кожи превратились в пачку. Только пуанты не постукивали жесткими клювиками по доскам пола, потому что вместо них на ногах были шерстяные штопаные-перештопаные носки.

Стены класса раздвинулись. За окном утихли выстрелы. Тусклая лампочка в сорок свечей расцвела солнцем. Танцуй, танцуй, Одетта, пока не появился Черный Гений. Этих Черных Гениев так много неподалеку от тебя, километрах в десяти, за Невой... Но они не должны победить тебя, Одетта. Они должны сгинуть с родной земли... вопреки либретто.

Потом Тамара упала на койку и замерла. Только сердце продолжало стучать горячо и учащенно, словно для него, для сердца, танец еще не кончился.

Тамара оторвала голову от подушки, улыбнулась.

— А жить нам было суждено!

Она вообще любила повторять зти слова.

И тогда кто-то из девочек, по-моему, Алла Петунина, сказала:

— Сейчас бы поесть жареных макарон, посыпанных сахарным песком. И чтобы целую сковородку.

— Не-ет, не надо макарон,— возразил Сережа. — Вареную картошку в мундире. Чистить и макать в подсолнечное масло.

— Я люблю котлеты,— сказал Вадик.— Покупные. Я их всегда ел, когда приходил из школы. Съел бы сейчас штук десять.

А Женя Сластная сказала:

— Хочу, чтоб было много теплого хлеба и брусочек масла. Хлеб теплый, с хрустящей серебристой корочкой, а масло твердое, когда мажешь, выступают капельки...

Все сглотнули слюну и замолчали.

А я лежал за стенкой на койке и слышал этот разговор. И мне становилось душно. Я вспомнил своих ребят, когда они мечтали о полете в стратосферу, о полюсе, о сцене Большого театра. Неужели война заглушила в них все эти высокие порывы? И остались жареные макароны и картошка с постным маслом.

Но потом отчаяние сменилось иным чувством. Мне стало нестерпимо жаль своих ребят. Так жаль, что я бы согласился сам голодать, чтобы они поели вдосталь...

Я закрыл голову подушкой, чтобы не слышать их голосов.

И долго не мог заснуть.

А на другой день, когда они вернулись с концерта до костей продрогшие в кузове старой полуторки, открытой всем ветрам, и усталые вошли в свой «класс», на столе лежала буханка хлеба, пачка печенья и брусочек масла.

От неожиданности у ребят перехватило дыхание. Они молча окружили стол, на котором лежало это богатство.

Сказочное богатство!

Молча достали нож и точно — на такую точность способны только люди, пережившие блокаду,— разделили буханку хлеба, печенье и масло на шесть равных частей. И не глядя друг другу в глаза, стали есть.

Тогда никто не думал: откуда это? Не думали, что кто-то оторвал этот хлеб и это масло от себя. Ели. Молча. Быстро. С опущенными глазами. И только, когда от угощения ничего не осталось, пришли в себя.

Стали раздеваться, разуваться, греть руки у пылающей печурки.

Только Тамара Самсонова не сдвинулась с места.

— Ты что, Тамара? — спросил Вадик, стаскивая тяжелые валеные сапоги.

Тамара повернулась к ребятам и медленно расстегнула шинель.

— Мне стыдно, мы съели чью-то долю,— вдруг сказала она.— Как звери набросились...

— Почему чью-то? — удивился Вадик. — Ведь лежало на нашем столе. Кто-то принес...

— Вадик,— мягко сказала Тамара,— но хлеб принес не добрый волшебник. Ты же не веришь в волшебников? Давайте считать, что сейчас у нас комсомольское собрание. И мы принимаем решение: «Никогда не говорить о еде!». Кто «за» — поднимите руки.

Некоторое время ребята стояли неподвижно, никак не могли взять в толк, зачем все это.

Но потом то, что почувствовала Тамара, стало доходить до остальных ребят.

И все подняли руки.

— Борис Владимирович, зачем вы это сделали?

— Что я сделал? Ты о чем, Тамара?

— Вы сами знаете. Вы не имели права это делать, у вас в Ленинграде сестра... мы ведь знаем. Мы, конечно, хороши! Увидели хлеб и не удержались. Нам очень стыдно.

Она стояла передо мной взволнованная, и в ее маленькой закинутой головке чувствовалась такая решимость, что я растерялся. Я уже не мог прикидываться, что ничего не понимаю. Я должен был ей ответить.

Но не был готов.

— Почему ты решила, что это я?

— Потому что вы не просто военный, а киндерлейтенант. Потому что у вас душа такая. А мы получаем полное котловое довольствие.

— Чадо мое, вы пережили такой голод, который не утолишь еще долгие-долгие годы. Я-то ведь понимаю. Этот голод похож на ужас, от него веет смертью.

— Мы дали себе слово. Приняли комсомольское решение: никогда не говорить о еде.

— Тебя подслушивает враг? — пошутил я.

— Друзьям тоже не все можно слышать. Борис Владимирович, вы очень хороший, очень близкий нам человек. Но ведь мы уже не ребятки из Дворца пионеров.

Я подошел к Тамаре, положил руки ей на плечи. И почувствовал в этих худеньких плечах какую-то упрямую силу.

— Разве на моем месте ты не поступила бы так же? А что касается ребятишек из Дворца пионеров, то от них все же что-то осталось.

Я опустил руки.

А она тихо пошла прочь. И я почувствовал, как мне дорога эта упрямая девчонка.

Мы — фронтовые танцоры. Мы странствуем по частям и подразделениям. Выступаем в заброшенных домах и в землянках. При свете коптилок и свечей, порой гаснущих от вихря, который в танце поднимают мои ребята. Мы разучиваем новые танцы прямо на ходу, на шоссе, там, где асфальт не разбит снарядами. Мы движемся на тряских полуторках, на подводах, пешком. Иногда нам приходится делать большие переходы. И тогда мы, по примеру нашего маленького мудреца Шурика, приговариваем: «Ходить надо уметь, ходить надо любить».

Идем, раз надо. Идем да еще тащим за плечами вещевые мешки с костюмами.

Раз, два, левой!

Впереди я, киндерлейтенант; за мной дядя Паша, наш старый баянист, с ящиком, висящим на ремне.

За ним — остальные.

И вот впереди в поле красным островом возникает кирпичный завод. Труба, по всей вероятности, сбитая прямым попаданием снаряда, лежит в траве, расколотая на несколько кусков. А основание трубы похоже на крепостную башню. Завод частично разрушен: он был превращен в крепость, и его штурмовали, как крепость. В стенах зияли проломы, а там, где горел мазут, стены покрылись черной липкой копотью.

Мы выступаем в жерле огромной печи для обжига кирпича. Часть жерла — зрительный зал, часть — сцена.

До начала выступления наши дорогие зрители-бойцы потрудились: расчистили от битого кирпича сцену и соорудили для себя места в «зрительном зале» все из того же кирпича.

Дядя Паша пробежал своими сухими пальцами по клавишам баяна, и началось, началось... Тачанка вылетела из темного тоннеля, и под закоптелыми сводами зазвучали дружные щелчки каблуков. Мазутовые светильники горели чадящим пламенем. Света было мало, на лицах танцующих ребят играли слабые блики, и пахло дымом. Получился какой-то танец огнепоклонников. Зрители замерли. Я вышел наружу, на солнышко. И пошел вдоль стен завода. Я слышал, как кончился танец, как загремели хлопки зрителей. И потом все стихло.

И вдруг за моей спиной послышались голоса. Эти голоса долетели до меня из пролома стены. Я сра-

зу узнал высокий голос Вадика и голос Тамары, чуть с хрипотцой.

— Тебе не холодно? — спрашивал голос Вадика.

— Не-ет.

— Что же ты дрожишь?

— Мы далеко забежали. Надо возвращаться.

— Подожди... А так тебе тепло?

Я не слышал, что ответила Тамара. И на некоторое время голоса стихли. Потом Тамарин голос произнес:

— Зачем ты так?

— Твои волосы пахнут шиповником,— ответил голос Вадика.

— Неужели?.. Вадик, ведь я блокадная девчонка. Я же тебе не нравлюсь.

— Молчи! — отозвался голос Вадика.— Давай здесь остановимся, никуда не пойдем. Будем жить в пещере.

— Как Том и Бекки? — в тон ему спросил голос Тамары. — Ничего у нас не выйдет. Война. У Тома и Бекки не было войны.

— Ты боишься обстрела?

— Когда ты со мной, я ничего не боюсь,— был ответ.

— А так тебе теплее?

И снова тихо.

— Мы никогда с тобой не расстанемся? — спросил Вадик.

— Никогда,— ответила Тамара.— Ты полюбил меня? Верно?

— Верно,— не раздумывая, ответил Вадик.

— Я думала, нельзя полюбить блокадную девчонку, потому что в ней что-то оборвалось, увяло.

— Глупости! Это тебе кто-то наговорил глупости. Мы будем вместе с тобой танцевать всю жизнь. Это же здорово — танцевать вместе.

— Здорово! — согласилась Тамара.

— А почему твои волосы пахнут шиповником?

— Не знаю.

Я стоял спиной к пролому, боясь пошевелиться, чтобы не выдать своего присутствия. Но они, Тамара и Вадик, видимо, заметили меня, потому что неожиданно умолкли. Потом я услышал хруст щебенки под ногами. Оглянулся. Передо мной стояла Тамара. На фоне закоптелой стены она казалась тоненькой и хрупкой. Глаза ее странно блестели, словно излучали свет, и все вокруг было как бы освещено этим светом. Она вопросительно смотрела на меня — слышал я или нет? Я вдруг тоже почувствовал запах шиповника. К этому запаху примешивался горьковатый запах дыма.

— Борис... Владимирович. — Она, вероятно, хотела спросить, что я слышал, но вместо этого заговорила совсем о другом: — У меня не получается финал. Вы заметили?

Я покачал головой.

— По-моему, все было в порядке, только под ногами попадались осколки кирпича.

— Поэтому и финал не получился... Я споткнулась.

— Не беда, чадо мое. Просто тебе никогда не приходилось выступать в печах. Когда-нибудь станешь солисткой балета, будешь вспоминать эту печь.

— Буду,— согласилась Тамара.— Столько придется вспоминать, как бедная память выдержит.

И тут наши глаза встретились, и она поняла, что я все слышал. Она отпрянула, видимо, хотела убежать, но удержалась на месте, готовая постоять за себя, если надо будет.

И вдруг с удивительной четкостью стала спускаться с горы битых кирпичей, как бы не касаясь их ногами. Только один осколок покатился вниз.

Она смотрит с вызовом, который скрывает смущение. А лицо горит. Но это, может быть, от танца, а может быть... Я чувствую, что должен помочь ей.

— Посмотри,— говорю,— какой шиповник...

И я подвел ее к кусту, который цвел в полную силу, словно рядом с ним не рвались снаряды, не летели осколки кирпича, не полыхало пламя. Только сочная, темная зелень была покрыта розовой пыльцой.

— Я чувствовала, что здесь где-то рядом шиповник,— сказала Тамара,— но подумала, что чудится... Странный запах, с горчинкой.

— Это примешивается запах гари,— произнес я.

Она вскинула глаза и испытующе посмотрела на меня: может быть, я все же ничего не слышал. Но тут же поняла, что не мог я не слышать, ведь стоял рядом.

— У нас на даче в Тарховке рос шиповник,— сказала она, лишь бы что-нибудь говорить. — Колючий.

— Этот тоже колючий, ведь на войне всем надо защищаться, даже цветку.

— Но тогда не было войны. А колючки были.

В это время к нам подбежал молоденький красноармеец.

— Товарищ лейтенант! — Он ткнул себя пятерней в висок.— Надо срочно эвакуироваться, сейчас немцы начнут обстрел. Не дает им этот заводик покоя...

И мы заторопились к своим.

V

Нет, Галя, это были не простые ребята. До того, как попасть к нам, они в кровь стирали руки и надрывали неокрепшие спины на оборонительных работах, зимовали в нетопленых квартирах, и, когда у них на руках умирал кто-то из близких, копили хлеб — отрывали от своих блокадных 125 граммов! — чтобы заплатить хлебом — золотой валютой блокады — за гроб. Они по тревоге не прятались в бомбоубежище, потому что презирали смерть, и перебегали улицу под артобстрелом: была — не была! Они становились санитарами и бойцами групп самозащиты. Они тушили зажигалки, хватали их длинными щипцами, и в бочку с водой — ш-ш-ш!.. Голодный понос... Дистрофия... Утрата интереса к жизни... Они стали забывать, что такое электричество, телефон, водопровод. Как в страшном фантастическом романе, мои ребята перенеслись из эпохи первых Дворцов пионеров в ледяную блокадную Помпею, но не слились с мраком, не задохнулись жутким холодом — преодолели боль, одиночество, режущий голод. И теперь они живы! Они сыты. Они набрались сил. У них гимнастерки с петлицами защитного цвета. А на петлицах маленькие золотые лиры, поскольку эмблему военных артистов балета еще не придумали. Они учатся стрелять из автомата ППШ, носят на ремнях трофейные финки. И мне порой кажется, что они не молоденькие салажата, а бывалые, прошедшие огонь и воду бойцы.

Сами того не понимая, они — танцевальная группа политотдела — стали необходимы армии, как патроны, снаряды, мины, взрывчатка, медикаменты. И хриплые голоса командиров, которые в трубки полевых аппаратов орали: «Подбросьте огурцов!» — то есть снарядов, те же голоса просили: «Пришлите юных танцоров! Надо поднять у ребят дух!» — «Каких вам танцоров, немец от вас в трехстах метрах!» — «Мы отвлечем немцев на фланге! Это уж

наша забота! Ни один волосок не упадет с головы ребятишек...»

Мы никому не отказывали. Не жаловались на усталость. Собирались по тревоге, и в путь. Правда, мои ребята еще не научились отвечать «Есть!» или «Слушаюсь!», а говорили по-граждански «Хорошо!». Но приказ выполняли по-военному. По-фронтовому!

Я пробираюсь в то далекое трудное время и еще веду за собой эту большеглазую девчонку. Но с ней мне не так трудно, не так одиноко. Вперед! Сквозь толщу лет. Счастливых и несчастливых. Дождливых и засушливых. Сквозь перемены. Сквозь время, которое люблю, которому предан сердцем.

Я вижу себя молодого и седого. Я — киндерлейтенант, нареченный так начальником политотдела армии Васильевым. Командир, педагог, нечто вроде дяденьки Савельича при молодом Гриневе. Шестеро у меня этих «гриневых», о которых я все знаю. Знаю, что у Тамары Самсоновой и Вадика вдруг возникло тревожное, таинственное влечение друг к другу, и они в нем не могут разобраться, их обоих радостно лихорадит, переносит в иную жизнь, где нет войны, нет блокады, а только ты да я, да мы с тобой... Алла Петунина ничем не интересуется, она все делает механически и танцует с каменным лицом. Словно заледенела в зимнем бескровном Ленинграде и еще не оттаяла. Женя Сластная вдруг стала проявлять интерес к длинному Сереже, а Шурик, маленький рассудительный Шурик, ходит за ней, как тень, и бросает недобрые взгляды на Сережу, словно тот в чем-то виноват...

В общем, все складывалось нормально. Молодость брала свое! Она оказалась сильнее войны. И это наполняло сердце неистребимой верой в жизнь, а стало быть, в победу! В возвращение к прекрасному довоенному времени. И огни Дворца пионеров, огни мира и счастья прорывались ко мне сквозь зловещую фронтовую тьму. Манили и звали...

Но было в жизни моих ребят — я теперь это осознаю ясно — нечто такое, на что я, нерадивый киндерлейтенант, рассеянная нянька — простите, дядька! — не обратил внимания. Потому что сам был молод и зелен.

Однажды группе раздали посылки из тыла. Одна из посылок досталась Тамаре Самсоновой. Небольшая такая, зашитая в мешковину, на которой черным карандашом было выведено: «Доблестному бойцу». Посылка предназначалась взрослому фронтовику, а досталась девчонке. Тамара осторожно распорола суровую нитку, которой была зашита мешковина, и обнаружила кисет с табаком-самосадом и шерстяные носки. Кисет Тамаре был, конечно, ни к чему, а носки, хотя и были связаны на большую мужскую ногу, она все же надела. Теплые это были носки. Но, кроме носков и табака, было в посылке еще и письмо.

«Здравствуй, доблестный боец! — писал автор письма. — Посылаю тебе носки и кисет с самосадом. Пусть у тебя не мерзнут ноги. А захочешь после боя закурить — табачок в кисете. Бей фашистов. Отомсти за моего батьку. Мамки у меня тоже нет. Я совсем одинокий. Серега Филиппов, третий класс».

Теперь я понимаю, что именно это письмо, обычное, похожее на тысячи других, все перевернуло в душе Тамары и вывело ее на огненную орбиту. Сперва девушка мучилась сознанием, что посылку доставили не по адресу — вместо «доблестного бойца» вручили ей, балерине политотдела. Но когда ей сказали, что она такой же боец, как и все, успокоилась.

Это я подумал, что она успокоилась. На самом деле в сознании девушки началась мучительная, напряженная работа.

Ее прежние представления разрушились, и им на смену возникли новые.

«Я должна, — сама себе внушала Тамара, — я должна быть там, где настоящие бойцы, взрослые. Я должна идти под пули, должна бить фашистов, потому что не имею права обмануть Серегу Филиппова».

Во время войны все созревало быстро. И все было немного недозрелым. Как рано сорванные яблоки.

Не будь войны, Тамара была бы еще обычной девчонкой, немного своенравной, но в общем-то мягкой, располагающей к себе. Она была очень похожа на моих сегодняшних ребят, на Галю Павлову. Так же была влюблена в балет, и ее истинная жизнь была в танце. Жизнь и самовыражение. Я невольно сравниваю этих двух девочек, моих любимых учениц, мысленно меняю их местами. И представляю себе Галю Павлову в гимнастерке длинной, чуть ли не до колен, воротничок хомутиком, плечи свисают; в пилотке, надвинутой на бровь, хотя по уставу между пилоткой и бровью должны уместиться два пальца; в сапогах, тяжелых, солдатских, на два номера больше. Мне кажется, что это не форма, а костюм из «Тачанки», только с чужого плеча, не подогнанный.

У Тамары костюм был настоящий. Не театральный. Полученный на складе ОВС (обозно-вещевого снабжения) для того, чтобы воевать, а не играть в войну.

Тамаре и Гале одинаково по шестнадцать лет. Но Тамара старше Гали на целый год войны. И ее уже не назовешь девочкой. Она — красноармеец-балерина.

И не просто балерина, а балерина политотдела. Ее глаза видели смерть — от голода, от осколков, от пули. Ее сердце покрылось жесткой корочкой, но само-то оно не почерствело, чувствует чужую боль, как свою. Она знает многое такое, о чем Галя даже не подозревает. Яблочко мое зеленое.

Все время эти две девочки сливаются в моем сознании воедино.

И когда я прорываюсь в прошлое, то рядом со мной оказывается Галя. Мне порой кажется, что сейчас на сцене Дворца пионеров танцует Тамара Самсонова.

Особенно, когда исполняют «Тачанку». Прежняя Тамара оживает в танце, а потом за кулисы возвращается Галя...

Помню, как-то раз нашел у Тамары на койке раскрытую книгу. Красным карандашом были подчеркнуты слова: «Мне приходится учиться искусству танца у простых деревенских жителей... В них наш характер, правда жеста, тот мудрый язык движений, который приходит от самой жизни... Народный танец — жизненный сок театрального концертного танца».

Потом Тамара как-то спросила:

— Ведь искусство должно выражать свое время. И даже танец, правда?

— Правда, — согласился я.

— Вот я все думаю, — Тамара приложила кончики пальцев к вискам и посмотрела на меня из-за шорладошек, — как наши танцы выражают сегодняшнее

героическое время? Неужели они такие же, как до войны, во Дворце пионеров?

— Нет,— убежденно сказал я.— Просто некогда ставить новые танцы. Но наши танцы наполнены новым содержанием. Ведь когда на сцене появляется наша «Тачанка», за стенами гремят настоящие выстрелы. И настоящий — снаряд бризантный[1] или бронебойный — может попасть в «Тананку».

— Я это нувствую... Я однажды видела, как бойцы шли в атаку под фашистскими пулеметами. Их перебежки были стремительны, легки... Хотя они были скованы, но преодолевали эту скованность, преодолевали каждым своим движением... И я потом попробовала. Высокий прыжок, широкая амплитуда движения.

— Ты умница,— сказал я.— Ты не только танцуешь, ты думаешь.

— Я видела, как один боец упал. Его сразила пуля. Он как-то съежился. И сполз на бок. И затих, словно заснул. И это уже не изобразишь. У него был стоптанный ботинок, а на шее большое родимое пятно...

И тут я понял, где она была. Я почувствовал, как кровь прилила к моему лицу, и, стараясь не закринать, сказал:

— Кто тебе позволил?

— Так полунилось. Они пошли прямо с концерта, а я с ними. Мне казалось, нто если я вернусь, то как бы предам их. Я хотела перевязать того бойца. Но он не дышал... И это тоже не выразишь танцем.— И тут она подошла ко мне близко, заглянула мне в лицо своими большими, так много накопившими глазами и сказала: — Борис Владимирович, пошлите меня в роту.

Она встревожила меня своей просьбой. Но я решил не выказывать своего удивления и ответил ей буднично, без всяких объяснений и увещеваний:

— Какая от тебя польза в роте? Ты же не держала в руках автомата.

Я думал обескуражить ее, но ничего у меня не вышло. Она подошла к стене, сняла с гвоздя автомат, неизвестно как онутившийся в комнате ребят, и молна стала разбирать его. Она делала это ловко и проворно. В ее движениях нувствовалась не только сноровка, но и опыт. Потом она скользнула по мне взглядом и в снитанные минуты собрала оружие. Однако я не сдался.

— Стрелять-то ты можешь?

— Могу.

Эта девнонка загнала меня в угол. Я надвинул пилотку на самую бровь и, как полковой комиссар, засунул ладони за ремень.

— Разве ты не на фронте? — спросил я.

— На фронте стреляют, а не танцуют,— был ответ.

— Стреляют тысячи людей. Десятки тысяч. А танцевать — вы уж меня извините! Своими танцами ты помогаешь ковать победу. Ты мстишь фашистам...

Я, кажется, заговорил лозунгами. Тамара посмотрела на меня с сожалением и сказала:

— Вы киндерлейтенант! Вам меня не понять.

— Да, киндерлейтенант,— я окончательно вышел из себя,— я тебе и учитель, и нянька, и командир. Я, чадо мое...— И тут увидел, что ее глаза полны слез, и осекся.

— Не надо,— сказала она, стараясь сдержать некстати нахлынувшие слезы,— и не ваша. Я теперь Сереги Филиппова.

— Какой еще Серега Филиппов?

И тут она расстегнула кармашек гимнастерки, достала письмо и протянула мне — читайте!

Откуда этому далекому Сереге Филиппову было знать, нто попадет его самосад не суровому бойцу, а девчонке, балерине политотдела!

— Ты куда табак дела? — спрашиваю Тамару.

— Отдала дяде Паше. А носки я ношу сама. Они, правда, на пять номеров больше, но теплые... Если бы был жив отец, я бы ему отдала все. Он умирал с голода, а коронки хлеба копил и менял на табак... Обман какой-то полунается. Серега отдал последнее тому, кто бы мог отомстить за отца, а я «цыганонку» танцую.

— Ты еще танцуешь «Тананку»,— твердо сказал я. Так твердо, как только мог.— И нтобы о роте я больше не слышал. Ясно?

Она стояла потупясь. Не слушала меня: ори, ори, киндерлейтенант!

Вскинутая головка подстрижена под мальчишку, узенькие плени, с которых свисает гимнастерка, рукава до пальцев. Глаза большие, а губы нежные, с трещинками от ветра. Маленький подбородок, впадинка под нижней губой. И шея длинная, тонкая — велик воротник гимнастерки, висит хомутиком.

— Разрешите идти? — спросила Тамара.

— Идите!

Повернулась нерез левое плечо, не по-солдатски легко и бесшумно. И пошла пронь.

И когда за ней затворилась дверь, мне стало не по себе.

А нерез день нам предстояло преодолеть простреливаемый унасток. Я, когда узнал об этом, хотел было отменить концерт, мне настрого было запрещено рисковать жизнью детей. И тут Тамара сорвалась с места. И вышла из укрытия.

— Стой, Самсонова! Тебе говорят, стой!

Не послушалась она меня. Шла, как фаталист, не верящий в смерть. Вызывающе спокойно. У всех на виду. А я-то знал, нто за полем, в синем кустарнике, фашистский снайпер уже вскинул винтовку с оптинеским прицелом. И уже подводит перекрестье под выступающий вперед левый карманчик ее гимнастерки. И этому фашистскому снайперу наплевать, нто она еще совсем девнонка. И что она даровитая девнонка.

— Приказываю, стой!

Напрасно. Я понял, что она уже не остановится, что повернуть было противно ее натуре. И еще я понял, если сейнас что-то случится, я никогда не прощу себе этого.

Тогда я побежал за ней. Я бежал, подгоняемый страхом за Тамару. Словно она была моей дочерью или сестренкой, а не просто красноармейцем Самсоновой.

Я не верил, что успею добежать. Но фашистский снайпер замешкался, его, видимо, больше заинтересовал я. И там, в синем кустарнике, все еще не стреляли.

Я успел! Схватил ее за руку, бросил на землю и сам неловко шлепнулся рядом. Треснул выстрел. Пуля, свистнув по-птиньи, как ножом, срезала веточку вербы рядом с моей головой.

— Мне больно,— сказала Тамара.— Я разбила локоть.

— Молчать! — я забыл, что уже не командир минометной роты, а киндерлейтенант. И горько пожалел, что рядом нет моих ребят-минометников, нто нельзя накрыть этого чертова снайпера тремя минами, беглым...

— Ползи за мной.

— Не умею ползать... Я встану,— сказала она.

[1] Бризантный — взрывной.

— Ползи, как можешь! За мной!

Нам надо было добраться до железнодорожного полотна. Метров двадцать. А там уже было безопасно. Если немцы, конечно, не вздумают бить из миномета.

Мы ползли, а немцы стреляли. Они охотились за нами. И пули отсекали рядом с нами веточки вербы с узкими серебристыми листьями.

— Ползешь? — спрашивал я Тамару.

Она не откликалась, была сердита на меня за разбитый локоть. Но по шороху и по тяжелому дыханию я чувствовал — ползет. Вот доберемся, тогда поговорим с тобой, красноармеец Самсонова! Только бы она доползла. Ведь когда человек не умеет ползти по-пластунски, он поднимается выше, и пуля может достать его.

— Прижимайся к земле! — кричал я через плечо.

Она была близко. Видимо, не хотела от меня отставать. Только бы доползти! Только бы ничего не случилось!

И тут началось спасительное полотно. Мы были в безопасности. Я встал. Оглянулся. Тамара уже стояла на ногах. Поднялась раньше меня. Отряхивала юбку.

— А жить нам было суждено,— сказала она спокойно, словно мы находились в нашем классе, а не под пулями.

Я схватил ее за руку. Собрался уже накричать, но почувствовал, что не могу. Не было у меня голоса, чтобы накричать. Только посмотрел ей в глаза и тихо, совсем не по-командирски — по-киндерлейтенантски сказал:

— Я тебя прошу. Больше никогда не делай этого.

Тамара удивилась, что я не кричу на нее. И тоже не по-военному сказала:

— Вы не волнуйтесь... так. Мы же на войне.

И пока я думал, как ответить, заметил, что по той проклятой простреливаемой тропе ползут остальные ребята. Толкают перед собой вещевые мешки с костюмами и ползут. Без приказа. Без разрешения своего киндерлейтенанта.

В эти дни Гитлер подписывал директиву за номером сорок пять, в которой приказывал начать подготовку к новой операции с красивым названием «Фойерцаубер» — волшебный огонь, фейерверк. Так вот, этот «волшебный огонь» означал, что группе армии «Север» надлежит начать подготовку к захвату Ленинграда. И потянулись к нашему родному городу эшелоны с фашистскими войсками и техникой.

А войска Ленфронта начали подготовку к прорыву блокады.

VI

Ни сон, ни передышка, ни отвод в тыл не могли оторвать бойцов от войны. Война лезла во все щели. Каждым движением, вздохом напоминала о себе, требовала жертв, страха... Она сигналила заревами пожарищ, вулканическим гулом далеких бомбардировок, смрадом не преданных земле останков павших. Она оборачивалась то болью, то голодом. Тяжелой вынужденной бессонницей, щемящей тоской по дому. Даже во сне не оставляла она бойцов, не давала им передышки — снилась.

И только перед танцами моих ребят война расслабляла мертвую хватку, отступала, терялась. В недолгие минуты фронтового концерта, когда маленькие танцовщицы легко кружились на глиняном полу землянки, а их партнеры солдатскими сапожками отбивали дробь на дороге, превращенной в сцену, люди как бы отрывались от изрытой минами земли и переносились в далекое мирное время, к своим очагам, к детям, братишкам и сестренкам, бойцы оттаивали на наших концертах. Когда же надо было возвращаться к орудиям, боевым машинам, в окопы и на огневые позиции, они, бойцы, были уже другими, обновленными, словно после духоты и смрада надышались живительным кислородом.

Нет, недаром головастый полковой комиссар Васильев задумал создать при политотделе танцевальную группу. Опытный политработник знал тайную силу искусства.

Моя же Тамара поняла это не сразу. Ей казалось, что любой человек с автоматом в руках может сделать для победы больше, чем ее танец. Потребовалось немало времени, прежде чем она, танцовщица, почувствовала себя нужной, необходимой армии. Она вдруг перестала проситься в роту и уже не ходила на стрельбище, сооруженное за школой работниками политотдела. Другая отчаянная страсть пробудилась в девушке: танцевать без устали, для полка, для роты, для пулеметного расчета. Танцевать там, где особенно трудно и особенно опасно. Одинокий Серега Филиппов, приславший ей кисет с самосадом и батькины шерстяные носки, звал ее вперед и, по неведению присвоив ей звание «доблестный боец», требовал от Тамары доблести.

Теперь Тамара предпочитала танцевать одна, там, где всей группе негде было развернуться и куда добраться было сложно. Танцевала в брезентовых палатках медсанбата, без музыки, чтобы не тревожить раненых. Танцевала на переднем крае, на сене, чтобы немцы не слышали стука каблуков. Как маленькая отчаянная комета, проносилась она по войскам нашей армии, оставляя долгий, медленно остывающий след.

Ах, моя дорогая комета! Я чувствовал перемены, которые происходили в ней. Ее лицо огрубело, движения стали резкими, она мало говорила, часто лежала на койке с открытыми глазами, прислушивалась к шагам в коридоре: может быть, приехали из части, тогда надо собраться быстро, по тревоге, и в путь. На подводе, на разбитой полуторке, пешком. Даже ее чувство к Вадику померкло, ушло вглубь. Только иногда, когда она глядела на него, ее глаза теплели. Но она тут же отводила взгляд, устыдясь минутной слабости.

Ноябрьским вечером, никому ничего не сказав, она ушла с пополнением на плацдарм. До сих пор не знаю, кого она уговорила взять ее с собой. И кто согласился на это.

Стояла ненастная ночь, дул холодный ветер, и мокрый снег белыми крупными хлопьями густо падал с неба. Над Невой, как лампы, висели осветительные ракеты. И в их режущем свете было видно, как белые хлопья, касаясь черной воды, гасли — будто тоже становились черными. Ветер раскачивал летучие лампы, густой мокрый снег делал их свет тусклым. Лодки и понтоны были плохо видны с того берега. Немцы били вслепую. Свистели осколки, стоял грохот. Полк переправлялся на другой берег. На одной из лодок пристроилась Тамара. Она сидела на широкой скамье, маленькая, хрупкая, сжавшись в комочек. И только ее полные решимости глаза смотрели вперед, силясь различить

в мутной мгле надвигающийся берег. Рядом рвались мины. Лодку качало. Бойцов обдавало ледяной, жгучей водой, от которой пахло железом. Иногда совсем близко с сухим шорохом пролетал осколок, все в лодке пригибались и умолкали, словно боялись выдать свое присутствие. Хотя, если бы в этом несмолкающем грохоте и звучал человеческий голос, его все равно невозможно было расслышать. Рядом с Тамарой на скамье сидел дядя Паша. В ногах у него стоял баян, который старик обхватил двумя руками, защищая свой хрупкий инструмент от осколков. Было в этой защите что-то наивное, и сам поступок дяди Паши был сумасбродным: поддался старик на уговоры девчонки, пошел с ней в самое пекло. Зачем?

Зачем? Есть вопросы, которые и сегодня остаются без ответа. Ведь у войны своя логика. И старика-баяниста поднял в его трудный путь Серега Филиппов. Поднял и повел...

Я не просто вспоминаю — я разбинтовываю рану. Отрываю от живого, и с каждым витком становится все больнее. Я совершил в жизни много ошибок, но эта самая непростительная. Я должен был не спускать с Тамары глаз, обязан был караулить ее, держать всегда возле себя. Ведь, по сути дела, она была еще девчонка. Шестнадцать лет! А в ней бушевала неуемная, взрослая боль за свою Родину, за свой город. Когда немцы с Вороньей горы били по Ленинграду, ей казалось, что все снаряды летят в ее дом. И была у нее за спиной пережитая блокадная зима. И ее подлинным командиром неожиданно стал Серега Филиппов. Для хрупкой девчонки этого было слишком много. Тяжесть давила на нее, и она искала облегчение в опасности, рвалась в самое пекло. Уверовав в силу своего искусства, она не давала этой своей единственной силе отдыха. «Дочка, ты танцевала, а я как бы дома у себя побывал»,— сказал ей один боец. И ей хотелось, чтоб все побывали дома.

Я знал это. Знал, что творится у нее на душе. Но слишком понадеялся на ее благоразумие. Она ускользнула от меня. Понеслась навстречу судьбе, не думая о себе, желая всю себя отдать людям.

Потом о концерте на плацдарме рассказывали легенды. Всю ночь полк занимал оборону, окапывался, отстреливался. А утром там, на пятачке, где не было живого места и вся земля была перепахана малыми саперными и перелопачена взрывами фугасок, зазвучал баян. И появилась Тамара.

В этом вывернутом наизнанку мире Тамара возникла, как видение. На ней была яркая блуза с широкими рукавами, юбка с бесчисленными воланами. Светились золотые денежки монист, а с плеч ниспадал платок, черный, расписанный алыми розами. Только сапоги на моей цыганке были не танцевальные, а простые, солдатские, на два номера больше, чем нужно, измазанные в глине, мокрые от невской воды. Но этих сапог никто не видел. Кого они интересовали, эти сапоги! Тамара развела руки в стороны, и платок превратился в два черных крыла с алыми розами. И каждый, кто видел эти крылья, начинал чувствовать, что у него за спиной тоже прорезается что-то, пусть поскромней, но для полета не обязательны розы. Нет, она не танцевала, а плыла над землей, невесомая и властная, хрупкая и твердая ленинградская девчонка.

А дядя Паша, наш старый молчун, дымильщик, тихоня, сперва сидел на неизменном ящике от баяна, где еще со времен его стародавней службы во флоте на оборотной стороне крышки сохранились фотографии красоток — не его красоток, а вырезанных из журналов, с надписями, которые опять-таки делали не сами журнальные красотки, а писарь флотского экипажа Алешин: «Люблю навек», «Жду привета, как соловей лета», «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей» («больше» вместо пушкинского «легче»). Дядя Паша сидел, но потом в нем взыграло ретивое, и он встал, и от этого музыка стала разливаться шире по берегу Невы и донеслась до нашего берега. И комдив приказал узнать, что там еще за музыка после такого боя, и почему немцы молчат, не драпанули ли?

Оттого, что на мертвой земле распустился такой цветок жизни, война сбилась с толку. Даже фашисты притихли. Те, кто должен был стрелять, не стреляли. Стволы автоматов и орудий молчали.

Ах, Тамара, Тамара! Она не просто танцевала на маленькой, наспех утрамбованной площадке, она бросила вызов войне. Сотни родных и чужих глаз смотрели на нее. Не было на этом пятачке ни одной живой травинки, деревца, по всему плацдарму огненным валом прошла смерть, но была она — танцующая девчонка, балерина политотдела. Она стала символом неистребимой жизни, во имя которой стоило держать этот чертов пятачок и не отступать.

— Пляска смерти,— так назвал этот танец пленный немец.

— Пляска жизни,— назвали ее танец наши бойцы.

Еще один виток. Еще один. Стискиваю зубы и отрываю бинт... Этот день живет в памяти как незаживающая рана. Все раны давно зарубцевались, а эта нет. И на витках бинта, как раздавленная клюква, пятно крови. С каждым витком пятно все больше.

Мы сидели с Галей Павловой в пустом классе на низкой скамейке перед зеркальной стеной, но на самом деле совершили далекое трудное путешествие в прошлое, в глубокое зазеркалье моей жизни. Ах, эта увольнительная записка! Не выскользни она из бумажника, не упади под рояль к бронзовому колесику, не открылся бы Гале доступ в сорок второй военный год, не состоялась бы ее встреча с балериной политотдела — Тамарой Самсоновой.

И вдруг Галя Павлова сказала:

— Знаете, а ведь я сожгла свой костюм цыганочки.

Я сначала не придал ее словам значения. Слишком далеко находился от сегодняшнего дня. Но потом до моего сознания дошел смысл странного поступка девочки. И я вопросительно посмотрел на нее.

— Зачем ты это сделала? В истории балета никто не сжигал на костре своих костюмов, даже в знак протеста.

— Я сожгла не на костре, в печке.

— И хорошо горело?

— Я облила бензином. Хорошо горело!

— Ну, Галина! Ну, Павлова! Ну, Герострат! Зачем ты это сделала?

Я смотрел на девушку скорее с любопытством, чем с негодованием. А в ее блестящих, чуть раскосых глазах не было и тени раскаяния. Они смотрели сквозь меня, словно я был прозрачным. Разглядывали что-то совсем другое. Я видел маленькую головку, гладкие волосы, собранные в строгий пучок на затылке. Ушки прижаты к голове, только нежные розовые мочки слегка отходят. Нос со щепоткой веснушек. Длинная шея с голубой жилкой справа.

— Не хотела исполнять танец подвыпивших обывателей! Цыганочку! Может быть, погадать на картах? Позолоти ручку!.. Дура я, правда?

Я терпеливо ждал, когда она выговорится. Я смотрел на нее и, помимо своей воли, почему-то представлял на ее месте Тамару. Было между этими девушками что-то общее, хотя их разделяла целая жизнь. Другая была эпоха.

В эту ночь орудия били сравнительно близко, и дом политотдела вздрагивал, как от подземных толчков. Я встал. Не зажигая света, подошел к окну и слегка отодвинул занавеску светомаскировки. Еще не рассвело — было около шести утра,— но небо уже стало багровым, как остывающее раскаленное железо. При свете вспышек было видно, что валит мокрый снег. Я прислушался и понял: огонь ведут наши орудия, и подумал, как хорошо, что бьют не по городу.

Стекла вздрагивали и тихо звенели, жаловались.

Все еще не зажигая света, я оделся и отправился к своим. Думал, они спят — их пушками не разбудишь! — но когда переступил порог бывшего класса, вся моя команда была на ногах.

— Доброе утро,— сказал я, закрывая за собой дверь.— У вас уже подъем? Или не спится из-за артподготовки? По-моему, неподалеку форсируют Неву.

Все это я выговорил довольно быстро. И когда умолк, заметил, что ребята молчат. Видимо, что-то случилось.

Я спросил:

— Все ли у вас в порядке, чада мои?

Не ответили мне чада.

Промолчали. И я понял, что не все у них в порядке. Я выжидательно посмотрел на Сережу.

— Борис Владимирович, Тамары нет,— сказал он.

— Где Тамара? Куда она запропастилась?

Ребята стояли передо мной, опустив глаза, словно чувствовали себя виноватыми за ее исчезновение.

— Она легла вместе со всеми,— сказала Женя Сластная.— Она легла, и мы крикнули мальчикам: гасите свет. А утром ее койка была пуста.

— Может быть, она встала раньше... может быть, подойдет? — сказал наш рассудительный Шурик.

Но я чувствовал, что он не очень-то верит в то, что говорит.

— Не могла ли она махнуть в Ленинград? — робко сказала Алла Петунина.

— Чего гадать! — сказал Вадим.

— Только и остается гадать! — вздохнул Шурик.— И ждать.

Я ходил по комнате, а уже недоброе предчувствие беды накапливалось во мне, подкатывало к сердцу. Однако я старался не поддаваться.

— Костюмы все на месте?

Алла Петунина — наш костюмер — подошла к стене, где на гвоздиках висел весь гардероб ансамбля. Зашуршали платья. Все молча ждали. Потом Алла повернулась ко мне.

— Борис Владимирович, нет цыганского костюма...

— Ты хорошо посмотрела?

— Нет костюма, посмотрите сами. А Тамара не расстается с ним.

Я ничего не ответил. Тогда ребята подошли к нашей костюмерной стенке и энергично стали ворошить танцевальный гардероб.

— Действительно, нет,— наконец сказал Сережа.— Она, наверно, махнула в соседнюю часть, ее попросили...

— Что значит попросили? — взорвался я.— Здесь армия, а не художественная самодеятельность. Здесь все вопросы решает командир.

Кому я это говорил? Тамаре? Она все равно не слышала моих командирских назиданий. Ребятам? Самому себе?

— Вот к чему приводит разболтанность! — раздраженно пробормотал я. Потом обратился к Сереже: — Веди группу на зарядку! В 8.00 экзерсис!

И под сводами старого класса прозвучало:

— Становись! Равняйся! Смирно! Нале-во! Шагом арш!

Сережа нарочито громко выкрикивал слова команды, но до меня они долетали глухо, как из соседней комнаты. Только бы Тамара вернулась! Только бы она нашлась!

Я не знал, что мне делать, куда устремиться на поиски Тамары. Отправился на узел связи армии. В частях, с которыми удалось связаться, о Тамаре не слышали, не выступала у них Тамара. И вообще в этот день было не до танцев — в частях объявлена повышенная боеготовность.

А мокрый снег все валил и валил. Он не ложился, а налипал на провода, на чехлы орудий, на шапки часовых.

Где Тамара? Когда она наконец придет? Я звал ее. Сам себе давал обещание не ругать ее, лишь бы она появилась. Должна же она в конце концов появиться! В два часа дня в класс вошел дядя Паша.

В этот день все забыли про него. Думали, старик занемог и отлеживается в хозвзводе, где стояла его койка. С ним такое случалось. Но весь вид старого баяниста говорил о том, что он пришел не из хозвзвода, а проделал трудный, изнуряющий путь. Шинель на нем была мокрой, хлястик болтался на одной пуговице этаким коротким хвостиком. Щеки запали, глаза лихорадочно блестели и были красными, как от бессонной ночи. Он вошел в класс и, не раздеваясь, сел за парту, служившую столом. Потом дрожащими руками стал сворачивать толстую цигарку. Табак сыпался на колени, кресало не слушалось, фитиль не загорался. Наконец баянисту удалось закурить, и некоторое время он курил с закрытыми глазами.

Я подошел к нему.

— Дядя Паша, где вы были? Может быть, вы знаете что-нибудь о Тамаре?

Не поднимая глаз, он сказал:

— Знаю.

Я наклонился к старику.

— Она жива?

— Жива.

Я облегченно вздохнул: слава богу, жива!

— Где же она?

— Она в Ленинграде... Во Дворце пионеров.

— Как? Что она делает во Дворце пионеров? — воскликнул я и осекся — вспомнил, что Дворец пионеров превращен в госпиталь.

Значит, Тамара в госпитале.

— Что с ней, дядя Паша?

Он молчал. Мне хотелось потрясти старика за плечи, вывести его из странного оцепенения, пусть сразу скажет все, что ему известно, чего тянуть. Но я сдержался, взял себя в руки, понял, что старик сам еле живой, чем-то потрясен.

Наконец баянист заговорил:

— Ранена Тамара. На переправе. Возвращались с плацдарма, и тут ее... миной.

— Какой плацдарм? Какая мина?

Я не мог поверить в реальность того, о чем мне говорил старик.

— Вы там были?

— Был.

«Зачем?» — хотел спросить я и тут же понял бессмысленность своего вопроса: Тамара ранена, и теперь уже все не имело значения.

Собравшись с силами, я спросил:

— Тяжело ранена?

— Тяжко, в бедро. Вот тут записка...

Он долго рылся в кармашке гимнастерки, пока наконец не нашел сложенный вдвое листок.

Я протянул руку к дяде Паше, но он покачал головой:

— Не вам. Вадику.

Вадика в классе не было.

Я подошел к двери, крикнул в коридор:

— Найдите Ложбинского! Поскорее!

Пока искали Вадика, старик молчал. Курил и молчал. И я не беспокоил его расспросами — сам скажет, что знает. Но вот с улицы прибежал Вадик.

— Тебе записка,— сказал я.— От Тамары.

Вадик удивленно посмотрел на меня, принял из рук дяди Паши записку и отошел к окну. Записка была короткой, но читал он долго, словно не мог разобрать почерк. На самом деле он все разобрал, но не знал, как понимать ее, что с ней делать.

Наконец он подошел ко мне и молча протянул листок.

Это была старая увольнительная записка, которую я подписал, провожая Тамару три дня назад в город. Я непонимающе покрутил бумажку, но Вадик сказал:

— Там, на обороте...

Я перевернул бумажку и прочел: «Вадик. Со мной все кончено. Я больше никогда не смогу танцевать. Достань, если сможешь, пистолет. Твоя Тамара».

У меня перехватило дыхание. Я поднял глаза на Вадика, тот выжидающе стоял рядом.

— Что ты думаешь? — спросил я Вадика.

Он пожал плечами.

Тогда я спросил:

— Если бы меня не было, а тебе отдали эту записку, что бы ты предпринял?

— Не знаю.

— Но ведь она надеется на тебя.

— Что ж, по-вашему, надо принести ей оружие? Я не дурак.

— Понимаю, что ты не дурак. Я тебе дам увольнительную. Поезжай в Ленинград, Тамара в госпитале во Дворце пионеров. Утешь ее. Собирайся.

Некоторое время он топтался передо мной, потом сказал:

— Лучше вы, Борис Владимирович. Чем я могу ей помочь?

Мне захотелось ударить его. Но я только до боли сжал кулаки. И отвернулся.

— Действительно, лучше ехать мне,— пробормотал я.— Иди!

Он пожал плечами и ушел. Записка так и осталась у меня. Навсегда. Я снова подошел к дяде Паше.

— Дядя Паша, вы выступали с нею в Ленинграде?

Он махнул рукой и сказал:

— Какой там Ленинград! На плацдарме были мы.

— Вы с Тамарой... на плацдарме?

Этого я уж никак не ожидал, даже от Тамары. Значит, подхватила она свой вещевой мешок с костюмом цыганки и рванула на плацдарм.

— Как же вы решились, дядя Паша? Ведь вы взрослый человек!..

— Да вот решился... Уговорила она меня.

...Она на днях подошла к дяде Паше и как бы невзначай спросила:

— Дядя Паша, вы давно не получали писем из дома?

— На прошлой неделе получил от внука,— ответил баянист.— Он мне картинку прислал. Дом с двумя окнами, и дым над трубой.

— Это хорошо,— сказала Тамара,— когда над трубой дым. Ленинградские малыши рисуют дома без дыма. Правда, страшно, когда на картинке дома есть, а дыма нет?

— Много что страшно,— уклончиво ответил старый баянист.

Он исподлобья посмотрел на Тамару и почувствовал, что она что-то замышляет.

— Ты говори, что тебе? — сказал он.

— Эх, дядя Паша, я бы сказала, да боюсь...

— Я не кусаюсь.

— Лучше бы кусались. Я не боюсь боли. Могу терпеть. В школе шла первой на прививку. Я боюсь, что вы меня не поймете. Вы ведь были под обстрелом, правда? И ничего?

— Ничего,— ответил дядя Паша,— остался жив.

Он никак не мог понять, к чему она клонит.

— Конечно, остались! — оживилась Тамара.— И не обязательно в бою погибать. Когда боец идет под огонь, он верит, что пуля пролетит мимо, а осколок вопьется в землю. Ведь большинство осколков попадает в землю.

— Ты говори ясней! — не выдержал дядя Паша.

— Завтра на плацдарм идет пополнение. Ночью будут переправляться. Давайте махнем туда... Я договорилась с одним лейтенантом.

— Нам-то с тобой что делать?

— Дадим концерт.

— Там без нас будет концерт, на плацдарме-то.

— Не поняли вы меня, дядя Паша! — заволновалась девушка.— Вы знаете, что́ с человеком бывает после боя? Радостная усталость? Ерунда! Человек опустошается. И эта пустота давит на него. Ему ничто не помогает... кроме искусства. Вот если станцевать им, героям плацдарма, цыганский танец!

— Ты с ума сошла! Там земля наполовину железная!

— Люди тоже наполовину железные,— возразила Тамара.— Но они все же люди! И защищать Родину они могут, только оставаясь людьми... Вы боитесь, что ли?

Она так прямо и спросила, чем повергла старого баяниста в смущение. Старик засопел.

И тут Тамара сказала:

— Если вы против, я пойду одна. В конце концов мне ребята подпоют.

И тогда в дяде Паше, в старом молчаливом человеке, что-то дрогнуло, какие-то его старые представления дали трещину. Он неожиданно почувствовал, что в этой отчаянной девчонке больше мудрости, чем в нем, бывалом человеке. Может быть, существует на свете какая-то особая, недоступная старикам молодая мудрость? Забористая, безрассудная, но... великая! И он подумал, что без этой молодой мудрости мир засох бы, погрузился в скучную дрему. Зеленая мудрость рождает подвиги.

И дядя Паша сказал:

— Пойду с тобой. Околдовала ты меня, девка!

Тамара сразу расцвела, несказанно обрадовалась. Видно, ей с дядей Пашей было не так страшно.

И они двинулись в путь. Снег хлопьями слепил им глаза, а мокрая глина чавкала под ногами. Шли они, как слепые, на ощупь. И было удивительно тихо и безлюдно. Словно весь мир спал, завернувшись в одеяло. Только снег крутил водовороты и обжигал лицо, легко пробивая намокшие шинели.

...Дядя Паша беспрестанно тянул свою цигарку, словно никак не мог утолить жажду, и виновато поглядывал на меня.

— Я красноармеец,— наконец сказал он,— и наказание мне положено. Ушел с нею самовольно. Но я не мог ей отказать. Не мог отпустить одну. Пошел за ней и... недоглядел. Да разве на войне доглядишь! Ведь мина не разбирает, где старик, которому и помереть не грех, где девчонка, балерина...

Он вдруг кинул на пол свою цигарку — никогда этого раньше не делал,— встал и впервые назвал меня не по имени-отчеству, а по званию, как командира:

— Товарищ лейтенант! Надо поспешить к ней... Ведь могут ей ногу... отрезать. Понимаете, какое дело!

Я забыл о своих ребятах, о дяде Паше, о концерте у саперов, вышел на улицу, не чувствуя резкого ветра с Невы, выбежал на дорогу, по которой шли машины в сторону города. Остановил какого-то «козла» и помчался.

VII

Галя, ты можешь себе представить Дворец пионеров госпиталем? У подъезда санитарные машины. В гостиных — белые койки. В зимнем саду с большими фаянсовыми лягушками — операционная. И запах, этот неотступный липкий госпитальный запах — запах лекарств и страдания.

Галя смотрит на меня большими удивленными глазами. Она все понимает — умная головка,— но увидеть не может... Не может заставить зажмуриться огни люстр. Не может заглушить музыку, умертвить праздник. И заполнить этот большой прекрасный дом-дворец страданиями. Не может! Слишком крепки в ее сердце свет, музыка, праздник.

...Как переступил я тогда знакомый порог, как ударил мне в грудь госпитальный дух, как увидел людей в белом, так сразу голова пошла кругом. Я растерялся. Где здесь Тамара? Какой изуверский военный рок так трагично вернул Дворцу пионеров лучшую танцовщицу пионерского ансамбля — принес на носилках бескровную, онемевшую от страданий, в бинтах?

— Вам что здесь надо, товарищ лейтенант?

Передо мной стояла невысокая девушка в белом халате. Ее строгие темные глаза испытующе смотрели на меня.

— К вам привезли бойца... вернее, девушку. Ее фамилия — Самсонова. Тамара Самсонова.

— Она ваша девушка или ваш боец? — строго спросила санитарка.

— Она моя... пионерка! — сказал я.— Понимаете, Тамара Самсонова! Я должен ее видеть.

Санитарка недоверчиво посмотрела на меня и пошла.

Потом она снова появилась передо мной и сказала:

— Ее готовят к операции. Будут ампутировать...

Я не дал девушке договорить:

— Стойте! — Схватил ее за руку, словно она, санитарка, сама собиралась ампутировать Тамарину ногу.— Да что вы тут, с ума посходили? Ей нельзя без ноги! Она же балерина!

— То пионерка, то балерина,— буркнула маленькая темноглазая санитарка, освобождая руку.— Я ведь не сама решаю. Майор медицинской службы Гальперин...

— Зовите сюда вашего майора! — закричал я.— Скорее!

Должно быть, в самом моем облике было столько отчаяния и решимости, что санитарка, бросив на меня пугливый взгляд, побежала по белой мраморной лестнице наверх. А минут через десять по той же лестнице сошел невысокий черноволосый майор в золотых очках.

— Вы что шумите? — тихо спросил он, устало потирая рукой лоб.

— Тамаре Самсоновой нельзя ампутировать ногу.

— Вы имеете представление о тяжести ее ранения? Что вам важнее — ее жизнь или...

— Нельзя ампутировать! — упрямо повторял я.

Он, конечно, мог отмахнуться от меня и уйти прочь. Но я бы не пустил его. Я бы вцепился в него двумя руками и не пустил бы. И он почувствовал это.

— Вы меня задерживаете,— сухо сказал он.— Кто вы такой?

— Я ее командир... и учитель. Я отвечаю за нее.

— Перед кем вы отвечаете? — спросил майор.— Перед кем можно отвечать, если по девчонкам бьют из минометов?

— Она талантливая балерина.

— Что ж вы ее не уберегли?

Я промолчал. Нечего было ответить майору, если я на самом деле не уберег Тамару.

— Послушайте, лейтенант,— сказал он.— Вы можете дать подписку? Я предупреждаю вас, что уже началась гангрена. Спасая ногу, можно потерять человека... девочку.

— Я дам подписку!

То, что я ответил не подумав, рассердило хирурга. И тогда врач — усталый, пожилой ленинградец в золотых очках, которые придавали ему мирный, предвоенный вид,— покраснел, шагнул ко мне и тихо закричал:

— По какому праву вы берете такую ответственность? Кто вы ей: отец, брат?

У меня перехватило дыхание, иначе бы крикнул ему в лицо: «Этот человек мне дороже сестры! Понимаете ли вы это, костоправ?» Но я не мог ничего сказать, а когда дыхание вернулось ко мне, ответил сухо, однозначно:

— По праву командира.

Хирург тяжело вздохнул, и я почувствовал, что это право он признает.

Он сразу смягчился. Спросил:

— Верно, что девушка балерина?

— Она не простая балерина,— ответил я.— Она балерина, совершившая подвиг.

Он еще раз посмотрел мне в глаза. И ничего не говоря, пошел вверх по мраморной лестнице.

— Я буду ждать! — крикнул я ему в спину.

Он не оглянулся. Медленно шел наверх. Он уже не принадлежал ни мне, ни себе — начал погружаться в свою трудную, нечеловеческую работу, готовиться к своему подвигу.

Я ждал его целую вечность.

Он появился усталый, разбитый. Очки сидели косо. Лицо было красным от долгого напряжения. Он, видимо, шел ко мне, но сделал вид, что случайно обратил на меня внимание. Я молча подошел к нему. Он поправил очки, уставился на меня:

— Что вы ждете от меня? Хотите, чтоб я сказал: все в порядке? Я не бог! Я только знаю свое дело.— Он достал из кармана платок и вытер лицо.— Ногу я ей, возможно, спас. Год полежит, там видно будет... Насчет танцев не может быть и речи.

— Не может быть и речи! — с отчаянием повторил я.

— Но ведь жить она будет!

— Да, да, главное, конечно... будет жить.

Врач посмотрел на меня поверх очков и сказал:

— Странный вы командир... очень странный.

Повернулся и пошел.

А мне казалось, что он уходит не один — уводит с собой Тамару.

Уводит из моей жизни, из моей работы, из моей любви.

И нельзя броситься следом, отнять у него девушку.

Я почувствовал, как обжигающая горечь подступает к сердцу, обволакивает его, сжимает. И я уже не смогу смотреть, как мои ребята кружатся в танце, раз среди них не будет Тамары.

Полковой комиссар стоит передо мной, уже в который раз засовывая под ремень ладонь, чтобы расправить гимнастерку, словно она во всем виновата. Он ходит по комнате.

Он говорит:

— Что ж ты, киндерлейтенант, не уберег девчонку?

Я наклоняю голову ниже, чувствую, что он говорит это без укора, а если и корит кого, так лишь самого себя.

— Ох, Корбут! Ох, учитель танцев!

Я понимаю его.

— Товарищ полковой комиссар, отправьте меня в роту... только не оставляйте моих ребят.

— Тебя? В роту? За какие грехи?

— Разве в роту за грехи...

— Ты меня не прерывай глупыми вопросами. Ты ведь все прекрасно понимаешь.

— Что я понимаю?

— Совесть у тебя чиста! И перед политотделом и перед самим собой. Мы ведь на войне, что поделаешь! А разве в Ленинграде, в своих квартирах и школах, дети не погибают?

Он повторил слова, которые я говорил ему в тот мартовский день, когда мы впервые встретились. Он утешал меня моими же словами. Я молчал. Что мне еще оставалось делать? И вдруг я посмотрел ему в лицо и увидел в его глазах темную печаль. Всю войну он старался быть твердым, тщательно скрывал свои переживания, даже сбрил седые волосы, но тут его прорвало, кремень дал трещину, и из этой трещины робкой зеленой травинкой пробилось отцовское чувство жалости. Он не стыдился этого чувства, не пытался его скрыть. Все ходил по кабинету, все расправлял гимнастерку ладонями, засунутыми под ремень...

Прошло столько лет, а я не могу забыть его глаз в день, когда на этом проклятом плацдарме ранило Тамару.

Я держу в руках клочок бумаги — бесценный документ далекой драмы — и читаю, как читал впервые, с болью: «Все кончено... Я никогда не смогу танцевать...»

И думаю: разве словом «танцевать» исчерпывается человек? Разве человек не может проявить себя в другом, если волею судеб «танцевать» вычеркивается из его жизни?

...Мы сидим в пустом танцевальном классе. Как тихо! Словно все вокруг замерло, чтобы не мешать моему трудному путешествию в прошлое. Только изредка долетает голос скрипки и тут же замирает — где-то на втором этаже идут занятия.

Гале стало холодно, она накинула на плечи шерстяную кофту, но не уходит. Не может уйти, стала моим добровольным спутником, идет рядом и своим сходством с Тамарой усиливает остроту моих воспоминаний. Мне кажется, что я все время молчу, ничего не рассказываю ей, но она проникает в мои мысли, и они становятся ее мыслями, и мы вдвоем думаем об одном и том же и видим одно и то же.

Я так и не снял пальто. Только стянул шарф, и он лежит у меня на колене.

И вдруг я говорю Гале:

— Одевайся, чадо мое, я покажу тебе палату, где после операции лежала Тамара.

Галя наклоняет маленькую головку, смотрит на меня большими серыми глазами, в которых уже не удивление, а готовность идти Тамариным путем, как бы долог и труден ни был этот путь.

На улице снег. Подгоняемый ветром, он катится под ноги бесшумными валами. И сквозь эту развевающуюся снежную кисею огни главного корпуса тускнеют. И мне кажется, что они сейчас совсем погаснут, скроются за темными шторами светомаскировки, а у подъезда появятся санитарные машины: защитного цвета, с красными крестами. Сейчас я распахну дверь, и меня резанет запах йода и карболки, и усталый хирург Гальперин посмотрит на меня, как на безумного.

Мы заходим в подъезд. Нас сразу обдает ласковым теплом. Звучат голоса, откуда-то сверху доносится музыка, ребята стайкой бегут по белой мраморной лестнице, обгоняя друг друга. И никаких санитаров с носилками... Так наслаивается время — на горе радость. А мы с Галей прорываемся к тому горькому слою.

Мы идем мимо комнат сказок, расписанных палешанами, мимо кабинета космонавтики, мимо зимнего сада с большими зелеными фаянсовыми лягушками. Здесь тогда была операционная. Здесь дневал и ночевал доктор Гальперин...

Звучит музыка. В зале идет какая-то большая массовая игра. Смех и хлопки. Как трудно пробираться сквозь смех к страданиям, преодолевать этот прекрасный слой мирного времени! Особенно трудно Гале.

В комнате, обтянутой малиновым атласом, я говорю:

— Здесь! Вторая койка от окна. Окно выходит в сад. Он тогда уже облетел. И только отдельные листочки желтели на черных, как чугун, ветвях.

Сейчас на месте «второй койки от окна» стоит старинный павловский диван. На нем сидят три подружки и о чем-то оживленно щебечут. Я подхожу к дивану. Подружки вскакивают и убегают.

— Здесь? — спрашивает Галя и проводит рукой по бархату. И кажется, как я, видит окрашенную в белый цвет госпитальную койку, видит подушку — наволочка желтая, застиранная. Одеяло — шершавое, из шинельного сукна.

А я вижу Тамару. Вижу ее бескровное лицо. Глаза закрыты. Губы запеклись. Мне кажется, что я ошибся, и передо мной взрослая женщина, прошедшая трудную жизнь. Я узнаю и не узнаю ее.

— Тамара! Я пришел...

Она медленно открывает глаза — даже это движение стоит ей усилий — и смотрит на меня. Но ее тело, руки, лежащие поверх одеяла, не дрогнули, не восприняли моего появления, хранили каменную неподвижность.

— Загипсовали девчонку, как статую,— шепчет мне на ухо санитарка и подставляет табуретку.— Садитесь.

— Вы пришли,— едва слышно произносит Тамара. Ей и шевелить губами трудно, а может быть, больно.

— Я пришел. Тебе привет от всех ребят. И от дяди Паши.

— Его баян утонул,— говорит Тамара,— он переживает.

— Мы ему раздобудем новый баян, не хуже старого.

Я стараюсь всячески подбодрить ее, избавить от забот.

— Где Вадик? — вдруг спрашивает Тамара.

— Его бы сюда не пустили,— уклончиво говорю я.— Но я все знаю про записку.

Она не выразила своего недовольства, что ее записка не сохранена в тайне тем, кому была адресована.

Она сказала:

— Я надеялась, что он придет, что он выполнит... Что же он?

И тут я забываю, что надо отвечать тихо. Я распаляюсь и говорю горячо, убежденно:

— Тамара, тебя оперировал прекрасный врач, он спасет твою ногу, вот увидишь! Ты будешь с нами.

Тамара качает головой, вернее, делает чуть заметное движение, но я улавливаю его и с жаром говорю:

— Ты будешь жить!

— Не нужна мне такая жизнь,— говорит Тамара.— Моя жизнь в том, в чем я могу себя выразить. В танце. А жить, не выражая себя,— пустота.

— Разве только в танце можно выразить себя?— спрашиваю я.

— Нет в мире другого такого искусства, в котором человек участвует весь... каждым ударом сердца, каждым мускулом, каждой клеточкой. Он весь со своими переживаниями в танце, в удивительном единстве тела и духа... Вы же сами меня учили.

— А любовь? — вдруг спрашиваю я и сам толком не понимаю, почему я заговорил о любви. Может быть, от отчаяния.

— Одной любви человеку мало. Любовь зачахнет без живительных сил, которые дает человеку самовыражение.

— Но ведь, кроме танцев, есть много других возможностей выразить себя!

— У меня нет. Вы же все понимаете, Борис... Я раньше мечтала о театре. А теперь мне снится «Тачанка».— Она назвала меня Борисом и этим как бы уравняла меня с собой или себя со мной.

Она устала.

Ей было тяжело держать глаза открытыми. Боль накапливалась, доходила до краев, губы побелели.

— Вам пора идти,— сказала мне неизвестно как возникшая санитарка и протянула руку к табуретке.

Табуреток, что ли, у них не хватает?

Я встал.

— До свидания, Тамара. Я скоро приду снова. Что передать ребятам?

— Скажите, что я их люблю...

Я еще постоял немного.

Потом спросил:

— Что передать Вадиму?

Тамара открыла глаза и, как сквозь дым, посмотрела на меня.

— Привет... Что еще передать?..

VIII

Я очнулся. В руке у меня старая увольнительная записка. Рядом Галя, притихшая, ошеломленная. Я внимательно посмотрел ей в глаза, они слегка потемнели, и мне показалось: они видели все то же, что видела Тамара, и она, моя Галя, стояла на той огненной невской переправе и ее освещала ракета, которая раскачивалась над водой. Я смотрел ей в глаза и слышал, как воют мины, и с ледяным шорохом пролетают осколки, и как всхлипывает река, прежде чем взметнуть в небо водяной столб. И я спрашиваю ее, мою ученицу, имел ли я право тогда сказать «Нет!», если бы Тамара спросила у меня разрешения. И по Галиным глазам, напряженным и решительным, понимаю: не смел я запретить Тамаре выполнить свой высший долг. И если бы Галя была там, не послушалась бы она моего «Нет!», разжаловала бы из киндерлейтенантов. Потому что не нужен ей такой учитель танцев и не нужны ей танцы ради танцев, если идет бой.

Я прячу записку во внутренний карман пиджака, как когда-то прятал в левый карман гимнастерки с клапаном и пуговицей.

Когда два человека страдают, это объединяет их, сближает. А если один ранен, выбит из седла, закован в гипсовую броню, а другой цел и невредим? Мне казалось, что Тамара лежит на берегу, а меня относит течением все дальше. Но я боролся, я греб против течения. Не терял ее из виду. И как только позволяла служба, я спешил во Дворец пионеров, обращенный в госпиталь.

— Борис, когда я встану на ноги, вы возьмете меня в группу, хотя бы... костюмером?

— Возьму! — уверенно отвечал я.— Мы не можем без тебя.

— А жить нам было суждено,— сказала Тамара и в первый раз улыбнулась. В первый раз с того страшного дня, когда все это случилось.

А жить нам было суждено! И мы жили. Ходить надо уметь, ходить надо любить! Мы понесли потери, но жили, боролись. Танцевали.

— Танец хромает без Тамары,— сказал однажды Вадим.— Следует изменить рисунок танца. Я могу показать, как надо, но нужны репетиции.

— Не будет репетиций! Нет времени! — сухо сказал я.

— Хорошо,— пробормотал Вадик,— не будет репетиций.

Он все же изменил танец без репетиций, без моего вмешательства. Сам. В этом измененном танце он танцевал за двоих: и за возницу и за пулеметчика. Здорово у него получалось. Глубокий выпад влево, глубокий выпад вправо. Все хвалили его, я молчал.

— Разве плохо? — спросил у меня Вадик.

— Хорошо,— ответил я.— Здорово! Ты, Вадик, настоящий талант. Только ты быстро утешился. Быстро привык танцевать без Тамары.

Вадик пожал плечами.

Он не мог понять, в чем его вина. Он, яблочко зеленое, не дозрел до понимания. В нем еще не прошла детская легкость в отношениях к людям. Не окрепли косточки, гнулись.

Я сердился на Вадика. Сердился на себя, что, будучи киндерлейтенантом, не проявляю достаточно мудрости, не по-взрослому прямолинеен. Но все, что было связано с Тамарой, больно задевало меня и выводило из равновесия.

...А дяде Паше выдали новый баян.

— Решением Военного совета армии за мужество, проявленное в бою за плацдарм, боец балетной группы при политотделе Самсонова Тамара Дмитриевна награждается орденом Красной Звезды.

Полковой комиссар Васильев в халате, накинутом на плечи, как плащ-палатка, стоял перед Тамариной койкой, а на ладони у него лежала тяжелая темно-вишневая звезда. Он как бы взвешивал награду перед тем, как вручить ее.

Тамара сидела на подушках, в сереньком больничном халате, и болезненно щурилась от волнения. Она вся подалась вперед, словно в следующее мгновение откинет одеяло, и встанет, и вырвется из гипсового плена.

Полковой комиссар подошел к ней ближе и прикрепил орден к отвороту серого халата.

— Не вешай нос, девочка! — доверительно сказал он.— Ты еще станцуешь!

— Я еще станцую,— отозвалась Тамара.— Хотите, сейчас станцую?

И не успел удивленный комиссар ответить, как за его спиной раздался перебор баяна. Это дядя Паша, как добрый призрак, возник в дверях палаты, приглашая свою маленькую подругу к танцу. И Та-

мара начала танцевать. Нет, она не поднялась с постели, потому что чудес не бывает. Но в руках у нее появился бубен, загремел, затрепетал, взлетел над головой, рассыпая веселый перезвон. Ноги девушки были неподвижны, танцевали руки, плечи, волосы, глаза.

Ее лицо преобразилось, и на нем появился отблеск жизни. Руки разлетались в стороны, взмывали вверх и тихо приземлялись на одеяле. И столько было в них птичьей легкости и так прекрасен был их полет, что мы, находившиеся в палате, забыли, что девочка танцует, сидя на койке. А бубен, маленькое ручное солнце, сиял над всей палатой, над зимним городом, только что освобожденным от блокады.

Когда все направились к выходу, Тамара тихо позвала меня:

— Борис, подождите.

Я задержался.

— Сядьте.

Я сел на край постели.

— Если вы не спешите, то побудьте...

— Я не спешу.

— Хорошо, что вы со мной... остались. Мне сейчас трудно быть одной. Такая нечаянная радость. Я давно не делилась с вами радостью. Правда?

— Время такое,— сказал я.— Больше горя, чем радости.

— Но сегодня радость. Правда?

— Правда. Я тебя поздравляю, Тамара. Я горжусь тобой... Я бы, наверное, не смог так. Я всего-навсего киндерлейтенант.

— Нет,— уверенно сказала Тамара.— Вы бы смогли. Я точно знаю. Это из-за нас вы должны всегда быть на месте... Вы спасли нас в первую блокадную зиму. Вытащили полуживых, поставили на ноги. Если бы не вы, ничего бы не было.

— Что ты, Тамара! Не я, так другой.

— Другого нет. Вы один.

Она смотрела на меня, и глаза ее горели. В них светилась радость, которая так давно не загоралась. И вдруг она сказала:

— Наклонитесь ко мне.

И когда я исполнил ее желание, она поцеловала меня. Крепко. Горячо. И от ее волос запахло шиповником. Сладким шиповником и горьким дымом. Этот запах, родной, щемящий запах теперь принадлежал мне.

Я растерялся от нахлынувшей радости и не знал, что делать, что говорить.

— Поправляйся скорее! — Я крикнул громко, на всю палату, так, что остальные девушки повернулись на мой голос.— Поправляйся скорее!

— Теперь я скоро поправлюсь,— ответила Тамара.

Мы с Галей спускаемся по большой мраморной лестнице Дворца пионеров. Навстречу нам бегут ребята. Куда-то опаздывают, обволакивают нас своим бурным, веселым течением, толкают. Мы им мешаем, а они нам помогают сойти с высот героических дней в наше время. Но это не так просто — вернуться оттуда. Не отпускает то время. Затихает медленно, как боль под витками бинта. Я подношу руку к карману, проверяю, на месте ли мой бесценный документ, хотя на обратном пути его предъявлять не обязательно.

Галина тонкая шейка с голубой жилкой вытянута, глаза расширены, не видят бегущих ребят. В них еще не погасли бубен, похожий на маленькое солнце, и орден, горящий на сером госпитальном халате.

— А жить нам было суждено! — произносит Галя.

Какая-то бегущая девочка замирает на ступеньке и переспрашивает:

— Что? Что суждено?

— Жить! — говорит Галя и идет дальше.

Мы выходим во двор. Снег сыплет густо и бесшумно, заполняет все пространство между двумя корпусами, и освещенные окна мерцают корабельным огнем.

И вдруг я слышу знакомый голос:

— Вы забыли шапку.

— Да, да. Совершенно верно. Спасибо,— механически отвечаю я, провожу рукой по волосам и тут только беру в толк, что это голос Тамары. Вернее, не сам голос, а эхо, приглушенное мягким снегом. Далекое, ожившее чувство жаркой волной захлестывает меня. Я останавливаюсь. Закрываю глаза и прислушиваюсь. Круговерть метели опутывает меня. Я чувствую на губах леденящий вкус снежинок и подставляю лицо под снег.

Я слышу шаги. Чувствую, как кто-то дотрагивается до моей руки.

— А жить нам было суждено!

Кто произнес этот пароль моей юности? Тамара? Галя? Или их голоса слились в один бесконечно дорогой голос?

И вдруг снег начинает пахнуть шиповником, сладким шиповником с горьковатым привкусом дыма.

ОТ АВТОРА

В основу повести «Балерина политотдела» легла подлинная история. В марте 1942 года балетмейстер Аркадий Обрант организовал при политотделе 55-й армии танцевальную группу из воспитанников Ленинградского Дворца пионеров. Ребята дали на фронте три тысячи концертов. Аркадию Обранту и его юным танцорам посвящена эта повесть.

●

Константин Ваншенкин

✪

Подушку сминая щекой,
В пути или дома
Ты спишь, человек дорогой,
За миг до подъема.
Прервут сновиденье твое —
Как сдвинут рубильник,—
Труба, или голос «В ружье!»,
Иль просто будильник.
Иль женщины нежной рука,
Помедлив немного,
Жалея, коснется слегка
Тебя, недотрога.
А лучше по скрытым часам —
Вам это знакомо! —
Внезапно пробудишься сам
За миг до подъема.
Что ждет тебя — длительный бег
Дорожкою гулкой,
Иль в окнах медлительный снег,
Чай с теплою булкой!
Не та же ли самая суть —
Вы спорите, что ли! —
Задумчивый утренний путь
К заводу и школе!
И связаны в мире одном
Единою связкой —
Троллейбусный вздох под окном,
Всплеск песни солдатской.

Музыка

Меж березами домик на круче.
Патефон. Довоенный уют.
Говорят, что от музыки лучше
И кусты и деревья растут.

Отступают печаль и досада.
Ах, как после войны мировой
Сладко пилам районного сада,
Где рокочет оркестр духовой.

Учит жизнь, нас невольно жалея,
Чтобы мы не рубили сплеча.
Но сирень зацветает скорее
Под открытым окном скрипача.

Освежающий шелест аллейки,
Розовеющей пихты успех —
Хоть и сели слегка батарейки
Портативных приемников тех.

В снегопад на станции

Снег принимался идти
Раз уже, может быть, десять
И на ходу, по пути,
Дали успел занавесить.
Липки у самой стены
Дома, стоящего слева,
Бережно ограждены
Мягкими ширмами снега.
Ближний перрон. Переезд.
Группа солдат. Эстакада.
Все, что мы видим окрест —
Только внутри снегопада.
Но сквозь летящий снежок —
Пристанционный рожок,
Жерла вагонных площадок,
Свернутый желтый флажок,
Как кукурузный початок.

Зеркальце

Северное хмурое село.
Божий храм семнадцатого века,
Что приезжим нравится зело,
Несмотря, что в нем библиотека.
Будний день. Не слышно ничего.
Мотоцикл у серого забора,
И девчонка смотрится в его
Зеркальце обратного обзора.
А над ней подобьем колеса,
Этаким изогнутым навесом,
Бледные мерцают небеса,
Кругло ограниченные лесом.

Старые стихи

«...Мудры поэты напоследок,
Зато вначале полны сил...»
А он писал и так и этак,
И ничего — удачлив был.

Он перечеркивал и правил,
Талант виделась печать,
А все ж придерживался правил,
Чтоб критиков не огорчать.

Коль были рифмы грубоваты,
Сквозил неряшливости след,
Он под стихами ставил даты
Минувших юношеских лет.

А если были строки эти
По-настоящему мудры,
Он их держал тогда в секрете
До зрелой более поры.

✪

Это бывало нередко,
Вот и сегодня опять:
Мягко вибрирует ветка —
Птицы уже не видать.

Малые жизни секреты.
Так бы и крикнул: «Постой!»
Тонкий дымок сигареты
В комнате висит пустой.

✪

Листопады и дожди
Отшуршали, отшумели,
И остались впереди
Снегопады и метели.

Макс Дахие

Звезда у дороги

У самой дороги на Выборг,
Где мимо снуют поезда,
Из снега, как огненный вызов,
Призывно мерцает звезда.
Война ее здесь обронила
На глинистый свежий бугор,
Зарею ее окропило,
Чтоб вечно не гасла с тех пор.

Надя Рушева в Ленинграде

(последний март)

На пальцы подышать немножко...
Смешно, чтоб в марте замерзать.
Ну, вот — оттаяла ладошка,
И можно снова рисовать.
Теперь давай, лети, фломастер!
Бумага ждет ли, белый снег!..
Ах, рисовать! Какое счастье —
Певучих линий звонкий бег.
И в этом городе бессмертном,
Где март, где ветер леденящ,
Все видеть за оградой в Летнем
Цилиндр и крылатый плащ...

✪

Вокзала обгорелый остов.
Вагончик на путях забыт.
Послевоенный Белоостров.
Безлюдье. Глухо лес шумит.
Мальчишка худенький и грустный,
В лесной траве, в лесном леске
Я отыскал заросший бруствер
И каску с дыркой на виске...
Так тихо. Лес вплывает в утро.
Мое лицо огнем горит,
Мне влажная земля как будто
О самом важном говорит,
Что где-то бродит за туманом
Войны неслыханной печаль...
Я гильзы щупаю в карманах
И тихо плачу, глядя вдаль.

Лошади в городе

Остановлюсь... Смотрю в глаза людей.
Они глядят, как будто виноваты.
Сквозь снег везут в машинах лошадей
По мартовскому городу куда-то.

Остановлюсь... Далекий день со мной —
Уводит в ночь табун мальчишечья ватага,
А гривы ветер путает стеной,
И сахар хрупает каурый мой коняга...

Метель. Фонтанка... Что же душу жжет!
Сквозь звезды снега разгляжу я ту,
Что, шею вытянув, вдруг тоненько заржет,
Косясь на бронзовых бессмертных на мосту...

Они ко мне еще вернутся в снах,
И буду помнить я, покуда жив,
Как лошади качались в кузовах,
На гривы головы друг другу положив.

На берегу

Ступая на гурзуфский пирс,
Все будничное разом смою...
Старик торгует голосами моря —
Ракушек выпускает, словно птиц.

Прикладываю к уху — чудеса!
Сквозь все помехи — хрипы, стоны —
Ракушки — древние магнитофоны,
Выносят из забвенья голоса.

Вот светится одна, как талисман,
Меня зовет в забытые эпохи,
И вдруг — глухие, медленные вздохи,
Как будто дышит древний океан.

А эта помнит тучи в небесах,
И за кормой сверкающую воду,
И на устах соленую свободу,
Разбойный ветер в грубых парусах.

Но вот... та, самая! Ее в руках верчу,
Чтоб отливала нежным перламутром,
Разлукою, и тишиной, и утром,
Когда я, море слушая, молчу.

Нюркин сад

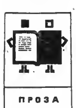
Вместе с солнцем на балконе
Начинается мой день.
Дом стоит в микрорайоне.
А вокруг, как дым, сирень.

И спасибо Нюрке, дворнику,
За хозяйский добрый взгляд.
Шланг пристроив к рукомойнику,
Из окна разбудит сад.

Руки Нюрки... Сколько вынесли!
Беды. Боль. И маяту.
Из деревни Нюрку вывезли,—
Не забыли сироту.

Выйдет в фартуке, худущая,
Чепорок на голове,
И струею, пальцем сплющенной,
По листочкам, по траве.

Под сиренью на скамеечке,
Нянчат бабушки внучат,
И листвой зеленой лечит всех
По утрам умытый сад.



Зиновий ЮРЬЕВ

БЫСТРЫЕ СНЫ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Глава 7

Нина Сергеевна шефа не уговорила, но попросила меня приехать и попробовать самому поговорить с ним.

Шеф, Борис Константинович Данилин, оказался невысоким, коренастым человеком лет шестидесяти, с лицом бывшего боксера и настороженными глазами участкового уполномоченного. Он был настолько выутюжен и накрахмален, что даже при малейшем движении издавал легкий жестяной шорох.

Я представился и попросил прощения за вторжение.

— Да, да,— неохотно сказал заведующий лабораторией,— Нина Сергеевна мне говорила о вас. Но у нас ведь научное учреждение, а не спиритическое общество. Хотите вызывать духов — ваше дело. Соберите приятную компанию и занимайтесь столоверчением на здоровье. Но мы-то здесь при чем?

Я почувствовал острое желание повернуться и выйти из комнаты. Но это было легче всего. Обида — защита слабых, а я не хотел быть слабым. К тому же я сражался не за себя. За себя я никогда по-настоящему постоять не умел. «Рохля»,— назвала меня однажды Галя. Это было жестоко, но довольно точно. Но сейчас за мной были У и его братья, я держал в руке дрожащую серебряную паутинку. Я отвечал за нее. Я не мог ее выпустить, если бы даже передо мной были десять тысяч Борисов Константиновичей и все они могучим хором предлагали бы мне заниматься столоверчением и вызыванием духов.

— Борис Константинович, я не спирит и не прошу вас участвовать в спиритическом сеансе. Я прошу проделать один научный эксперимент.

— Какой эксперимент? — брезгливо сказал заведующий лабораторией и стал раскатывать сигарету между пальцами.— О чем вы говорите? Эксперименты ставят тогда, когда они имеют отношение к науке. Пусть самое отдаленное, но все-таки имеют. А вы, простите меня, приходите не то с телепатией, не то со спиритизмом, не то с теософией. Это же, дорогой мой, чепуха. Абсолютная, раз и навсегда решенная че-пу-ха!

Я сделал такой скорбный вздох, что Борис Константинович чуточку смягчился.

— Поймите, если бы ко мне пришел самый симпатичный мне человек и попросил проверить работу изобретенного им вечного двигателя, я бы не стал этого делать, как не стал бы этого делать ни один ученый, слышавший о законе сохранения энергии. Вы тоже пришли ко мне со своего рода вечным двигателем. Не знаю уж, как вы сбили с толку Нину Сергеевну, она вообще человек мягкий,— голос Бориса Константиновича стал сердитым,— но я разрешения на шарлатанские фокусы дать не могу...

Борис Константинович сердился, а я, наоборот, совершенно успокоился. Наверное, и я бы на его месте вел себя так же. Но просто любой нормальный че-

Рисунок Г. КАЛИНОВСКОГО.

Продолжение. Начало см. в № 3 за 1976 год.

ловек должен обладать хоть каплей детского любопытства. Самое страшное существо на свете — это человек, начисто лишенный любопытства. Неужели же ученый может быть настолько лишен этого чувства? А может быть, именно потому он и ученый, что не хочет и слышать о вещах, выходящих за рамки его представлений?

Заведующий лабораторией перестал катать сигарету между пальцами, очень внимательно и придирчиво осмотрел со всех сторон, не прятались ли за ней спириты и телепаты, торжественно вставил себе в рот и вынул замысловатую зажигалку.

Почему-то я обратил внимание на его пальцы. Они были короткие, мощные; аккуратно подстриженные ногти были покрыты бесцветным лаком.

Не согласится, подумал я. Человек, лишенный любопытства, но кроющий ногти бесцветным лаком,— это нелегкая комбинация. Ну и бог с ним. Во мне поднималось прежнее настроение безудержного оптимизма.

— Борис Константинович,— сказал я,— мне известно, что телепатии не существует. Но можете вы задумать какую-нибудь фразу, или фразы, или числа и записать их на листке бумаги, произнеся лишь их про себя?

— Нет, не могу.

— Почему, Борис Константинович?

— Потому что никакого чтения мыслей на расстоянии не существует.

— А если я докажу вам, что существует?

— Вы ничего не можете мне доказать. Вы не можете доказать того, что не существует.

— Борис Константинович, для чего нам спорить? Насколько проще было бы проделать этот крошечный опыт, о котором я только что говорил. Да давайте даже не проделывать его. Только что вы подумали: «Вот еще напасть на мою голову».

Заведующий лабораторией сделал губы кружочком и выпустил несколько колец дыма редкостной правильности. Кольца казались такими же жесткими, упругими и металлическими, как и весь он. Он поднял глаза и посмотрел на меня.

— Вы не ошиблись, и я прошу извинения за слово «напасть», которое пришло мне в голову, хотя обычно за то, что думают, не извиняются. Но вы меня ни в чем не убедили. Абсолютно ни в чем. Сам характер нашей беседы,— Борис Константинович выразительно развел руками, словно говоря: я же в этом не виноват,— характер нашей беседы таков, что вам не составляло особого труда догадаться о моих мыслях.

Я улыбнулся. Во мне проснулся охотничий азарт. Неужели я не загоню его в угол?

— Согласен, Борис Константинович, я действительно навязался на вашу ученую голову. И я вас прекрасно понимаю. Но с другой стороны: отвяжитесь же от этой напасти, от этого настырного протеже слишком доброй Нины Сергеевны. Уважьте его прихоть!

Заведующий лабораторией улыбнулся. Для этого ему пришлось затратить немало усилий, потому что его металлическое лицо никак не хотело складываться даже в самую бледную улыбку.

— Теперь-то я понимаю, как вы заморочили голову моей заместительнице. Будь я женщиной, я бы тоже, наверное, не выдержал такой интенсивной осады.

На мгновение я представил себе Бориса Константиновича дамой и содрогнулся от ужаса.

— Но поймите же вы, молодой человек, никакого чтения мыслей, никакой телепатии не существует. Да сто раз угадайте вы задуманное мною — я лишь пожму вашу руку и скажу, что вы прекрасный иллюзионист.

— И у вас не возникнет желания узнать, как я это делаю?

— Может быть, и возникнет. Но я подавлю его. Если бы я занялся изучением искусства фокуса и иллюзий, тогда я бы не отпустил вас. Я бы запер вас. Я любыми способами постарался бы раскрыть, как вы проделываете свой трюк. Я же занимаюсь проблемами сна и сновидений. Я даже не буду спорить, что интереснее. Каждому свое. Одним перепиливание дам на манеже цирка, другим наука. Наверное, перепиливать дам интереснее, вполне допускаю это. Во всяком случае, аплодисментов наверняка больше. Но так или иначе я выбрал науку. Зачем мне тайны иллюзионистов? Посудите сами. Среди моих знакомых иллюзионистов нет. Это было бы некоей интеллектуальной суетой, которая мне в высшей степени неприятна.

Я почувствовал, что суровый Борис Константинович начинает мне нравиться.

— Ваша логика безупречна, и мне нечего возразить вам, но неужели же в вас нет самого что ни на есть детского любопытства? Любопытства малыша, который ждет вылетающей из аппарата птички? Ладно, не хотите иллюзий — не надо. Но птичку? Неужели и птичку вам посмотреть неинтересно?

— Я вырос,— мягко сказал Борис Константинович.

А может быть, он вовсе не вырос? Может быть, он так яростно сражается против детского любопытства именно потому, что не вырос? Нет, подумал я. Это, разумеется, было бы очень психологично и очень литературно. Но Борис Константинович никогда не был мальчиком.

Мы оба замолчали. Заведующий лабораторией посмотрел на часы. Взгляд был корректный. Достаточно быстрый и брошенный украдкой, чтобы не казаться грубым напоминанием. И достаточно в то же время заметный, чтобы я устыдился.

Теперь во мне начала разгораться веселая ярость древних воинов, которой они распаляли себя перед боем.

— А знаете, Борис Константинович, я не уйду отсюда, пока вы не проделаете маленький опыт, который вам так неприятен.

— Оставайтесь! — Борис Константинович развел руками жестом человека, который снимает с себя всякую ответственность.— А я, с вашего разрешения, откланяюсь.

— А я вас не пущу,— улыбнулся я, вставая.

— Прямо не пустите?

— Прямо не пущу.

— А если я все-таки попытаюсь уйти?

— Вот видите, а вы говорили, что лишены детского любопытства. Что будет? Мы начнем возиться, упадем на пол, перепачкаемся, ушибемся. На грохот переворачиваемых стульев прибегут Нина Сергеевна и другие сотрудники. Меня, конечно, отправят в милицию и дадут суток десять, но, знаете, изобретатели вечного двигателя ведь маньяки. Препятствия остервеняют их. Посмотрите на меня — я же типичный маньяк. Я бы с таким не связывался. Ну его к черту. Лишь бы выпроводить как-нибудь.

Борис Константинович вдруг засмеялся. Неловко, неумело, каким-то квакающим смехом.

— Вы все-таки удивительный человек. Если бы вы только были психологом, биологом или даже врачом, я вас тут же пригласил бы в лабораторию. С вашей настойчивостью мы бы выбили себе оборудование, которого нет ни у кого.

— Увы, я учитель английского языка.

— Знаю. Нина Сергеевна говорила мне. Интересно, если это не секрет, как вы заморочили голову Валерию Николаевичу Ногинцеву?

— Во-первых, это не я, а мой приятель. Во-вторых, я был представлен как журналист, пишущий о науке. Как видите, я не останавливаюсь ни перед чем.

— Это-то я вижу,— покачал головой Борис Константинович.— Так что, вы твердо решили меня не выпускать?

— Твердо.

— Ну ладно, уступаю грубой силе.

Заведующий лабораторней уже, кажется, начал постигать искусство улыбки, потому что на этот раз его металлическое лицо сложилось в ее подобие почти без скрипа.

— Спасибо, профессор,— с чувством сказал я.— Но не пытайтесь бежать. Отечественная наука о сне может понести невосполнимый урон.

— Знаете что,— сказал Борис Константинович,— думаю, я смогу вас взять старшим лаборантом. Какая была бы в лаборатории дисциплина!

— Я не всегда такой, к сожалению. Скажу вам больше: я разгильдяй. И даже рохля. Это сегодня я такой.

Если бы Галя видела меня сейчас, подумал я. Наверное, даже она с ее напором не смогла бы уломать его.

— Жаль, жаль. Ну ладно. Но если уж проводить маленький опыт, то давайте по возможности построже. Я останусь здесь, а вы пройдите в комнату налево. Согласны?

— Вполне.

— Держите листок бумаги. Чем писать у вас есть?

— Я учитель,— обиженно сказал я.— Я сплю с четырехцветной шариковой ручкой.

— Прекрасно. Когда я позову вас, возвращайтесь.

— А вы честно не удерете, профессор? — спросил я и улыбнулся самой обезоруживающей улыбкой, какая есть в моем мимическом арсенале.

— Даю слово.

Я прошел в соседнюю комнату, где стояли какие-то незнакомые мне приборы, поздоровался с совсем юной девой, которая тщательно рассматривала свои выгнутые дугами тонкие бровки в зеркальце, и сел за шаткий столик. Дева едва заметно кивнула и даже не отвела взгляда от зеркальца. Чувствовалось, что она гордится бровями — этим творением рук своих — и никогда уже не сможет от них оторваться.

Я качнул столик локтями. Он застонал, но не развалился. Пожалуй, сегодняшний день еще простоит. Я сосредоточился. Подумал вдруг, что через стенку я еще никогда не читал мыслей. Получится ли? Легчайшая щекотка, зуд, секунда гудящей тишины и голос: «Ровные как будто. А Машка говорит, что тонковаты». Это бормотание дурочки, все еще стоявшей с зеркальцем в руках. Еще сосредоточиться. Шорох слов: «Таким образом... корреляция... локализуется... дважды проверенные нами... электроэнцефалограмма дублировалась... многоканальном... дает основание...» Только бы успеть записать.

Скрипнула дверь. Зеркальце в руках девицы испарилось, и в ничтожную долю секунды она приняла позу прилежно работающего человека.

— Готовы? — спросил профессор.

— Да, иду.

— Ну как, что-нибудь получилось?

— Вот,— сказал я и протянул заведующему лабораторией листок.

— Ну, давайте посмотрим, молодой человек. Но договоримся: если не получилось, на объективные причины не ссылаться. Идет?

— Идет, идет.

Борис Константинович уселся за стол, неторопливо надел очки в тонкой золотой оправе, взял мой листок и положил его рядом с другим листком. Потом ручкой начал подчеркивать слова по очереди на одном листке и на другом. Закончив, он снял очки, подышал на стекла, достал из кармана белоснежный платок, очень медленно и очень тщательно протер их, снова надел и снова начал подчеркивать слова.

— Вы не возражаете, если мы повторим? — вдруг спросил он.

— С удовольствием, профессор.

Я снова прошел в соседнюю комнату. Боже, мы тут спорим о принципиальной возможности чтения мыслей на расстоянии, горячимся, а юная лаборантка с выщипанными бровями уже давно пользуется ею в повседневной жизни. Когда дверь открыл профессор, ее как ветром подхватило. Когда вошел я, она даже не посмотрела в мою сторону. Как она могла знать, кто откроет сейчас дверь?

Теперь она была занята не бровями, а губами, которые подкрашивала с необычайным тщанием и чисто восточной отрешенностью от житейской суеты. Если она еще не замужем, подумал я, из нее выйдет превосходная жена. Во время самой яростной ссоры ей нужно только сунуть в руки зеркальце, и оно сразу погасит ее самый воинственный пыл.

И снова шорох слов. Теперь цифры:

«Два и семнадцать сотых... Четыре... шесть и тридцать две тысячных... одиннадцать... одиннадцать и одна десятая».

На этот раз профессор почти выхватил мой листок. Но читать сразу не стал, а медленно положил на стол. Чем-то он вдруг напомнил мне азартного картежника, томительно медленно сдвигающего карты, чтобы не спугнуть удачу.

Наконец он отодвинул оба листка.

— Я не считал, но по теории вероятности случайное угадывание в этих обоих случаях равно ничтожно малой величине, которой можно пренебречь. Стало быть...— Он побарабанил пальцами по столу и вздохнул: — Стало быть, приходится признать, что вы действительно мастер иллюзии.

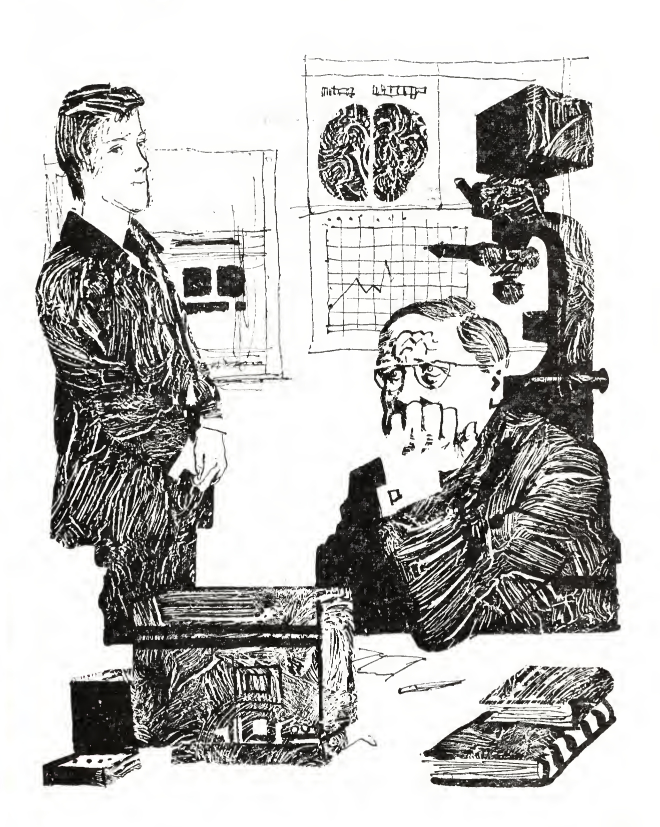
— О боже правый! — простонал я.— Какая может быть иллюзия? Я в одной комнате, вы в другой. Откуда я могу знать, какие слова, фразы или цифры вы произносите про себя?

— И все же. Знаете, я вдруг вспомнил опыт, наделавший в свое время много шума. Один врач посадил двух медиумов-телепатов в двух комнатах, расположенных в разных концах здания. Одному из телепатов врач сообщал какое-нибудь слово или фразу. Затем телепат клал руки врачу на плечи и долго смотрел в глаза, запечатлевая в них это слово. Врач шел в другую комнату, где второй телепат тоже клал ему руки на плечи, впивался взглядом в глаза и, наконец, произносил безошибочно слово, задуманное врачом. Доктор был потрясен. И знаете, что выяснилось?

— Нет.

— Когда врач называл слово первому телепату, тот незаметно писал его в кармане на липком листочке. Кладя руки на плечи врачу, он приклеивал сзади к пиджаку этот листочек, а второй телепат снимал его. Врач, в сущности, был курьером.

— Остроумно, но у нас же никто не ходит из комнаты в комнату. И я не пишу в кармане. Вы можете в этом прекрасно убедиться, посадив меня рядом с собой и диктуя мне мысленно.



— Гм... а что... давайте попробуем.

В одной комнате, почти рядом, мысли профессора звучали громко и чисто. Я без труда написал фразу, которую задумал Борис Константинович.

Он подпер голову рукой и прикрыл глаза. На лице его застыла мучительная гримаса. Профессор мужественно сражался за свои убеждения, но вынужден был отступать под напором превосходящих сил противника.

Мне стало жаль его. В сущности, непонятно, почему большинство людей так яростно обороняется против любой новой идеи. Это же праздник, поездка в незнакомую страну.

— Я не могу объяснить того, что вы делаете,— наконец сказал Борис Константинович.

— Но вы верите своим чувствам?

— Значительно меньше, чем данным науки. А телепатии, понимаете, не существует. Не су-щест-вует! Нет ни одного убедительного опыта, есть только слухи, болтовня, непроверенные россказни. Поэтому я выбираю науку. Я не верю своим глазам. Мои глаза могут ошибаться, а вся наука не ошибается. Конан Дойль был вполне рациональным писателем. Но он был искренне убежден, что не раз видел в своем саду танцы фей и эльфов.

— Я не фея и не эльф,— как можно мягче сказал я.— И я вовсе не утверждаю, что я телепат. Больше того, я с вами согласен, что никакой телепатии и прочих чудес не существует.

— Значит, вы признаетесь, что это ловкая иллюзия?

— Если бы,— вздохнул я.— Представляете, как я бы зарабатывал, выступая в цирке и на эстраде...

— Это идея. Вместо того, чтобы мучить меня здесь...

— Профессор, вы, надеюсь, понимаете, что такое чувство долга? Так вот, я мучаю вас исключительно из чувства долга.

— Перед кем же?

— Перед народом Янтарной планеты и перед всеми людьми. Я вижу торжествующую улыбку на ваших губах. Слава богу, думаете вы. Все стало на свое место. Больной человек. Кстати, если бы я даже был болен, листки на вашем столе не стали бы от этого менее реальными... Дорогой Борис Константинович, ответьте мне на один вопрос: если бы объективные показания ваших приборов установили, что мой спящий мозг принимает сигналы, посылаемые какой-то цивилизацией...

— Хватит! — крикнул профессор и вскочил с места.— Хватит! Вы что, издеваетесь надо мной?

— Нисколько, клянусь вам. Вы потеряли столько времени, потеряйте еще десять минут. И все время смотрите на листки бумаги на вашем столе. Борис Константинович, вы не простите себе, если прогоните меня сейчас. И до конца дней в душе вашей будет копошиться червячок сомнения.

Профессор молча закурил. На этот раз он забыл о кольцах и затягивался жадно и торопливо. Он закрыл глаза, покачал головой, снова открыл их и посмотрел на меня. Разочарованно вздохнул. Бедняга надеялся, наверно, что я вдруг растворюсь и исчезну и он сможет пробормотать с облегчением: что-то я заработался сегодня, всякая чертовщина мерещится.

— Знаете что,— вдруг сказал он,— давайте еще. Одно слово.— Глаза профессора засветились маниакальным блеском.

— С удовольствием. Только вы произнесли про себя не одно, а три слова, даже четыре: «Вышел месяц из тумана...» Это что, стихи?

— Считалка,— простонал специалист по сну и закрыл лицо руками.— Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана...— Профессор застенчиво улыбнулся и посмотрел на меня.

Я молчал. Он тоже.

Через пять минут он согласился на проведение эксперимента, взяв с меня страшную клятву, что ни одна живая душа на свете не должна знать о нашем договоре. Когда мы прощались, на него жалко было смотреть. Весь он как-то смягчился, словно накрахмаленный воротничок после стирки, а глаза были уже не глазами участкового уполномоченного, а человека, убегающего от него.

Глава 8

Я сидел в учительской после конца занятий и беседовал с преподавательницей литературы Ларисой Семеновной о смысле жизни. В дверь вдруг просунул голову Вася Жигалин. В элегантном рыжем кожаном пальто Вася был очень эффектен, и Лариса Семеновна сразу забыла о смысле жизни.

— Кто это? — театральным шепотом спросила она.

— У него семеро детей. Если вы отобьете его у жены, вам придется их всех обслуживать, потому что крошки обожают папочку и не расстанутся с ним. А жена его, кстати, весит около девяноста килограммов, и все хулиганы микрорайона прячутся под детские грибочки, когда она выходит из подъезда. Ну как, знакомить?

— Еще одно разочарование,— тяжко вздохнула Лариса Семеновна. Ей шестьдесят один год, но она обладает живым, молодым умом, обожает шутки и полна какой-то интеллектуальной элегантности.

— Вы по поводу своих детей, товарищ Жигалин? — сурово спросил я.

Вася бочком пролез мимо полуоткрытой двери учительской, низко поклонился нам и сказал:

— Спасибо, батюшка, за науку-то...

— Ты на машине? — спросил я.

— На ей, родимой.— Вася снова поклонился.

— Лариса Семеновна, может быть, разрешите подвезти вас? Василий — мужик тверезый, мигом домчит.

— Спасибо, Юрочка, я пройдусь, две остановки всего.

— Тогда разрешите хоть представить вам моего друга Василия... Вась, как твое отчество?

— Ромуальдович. Старик Ромуальдыч кличут меня.

Лариса Семеновна пожала мужественную руку старика Ромуальдыча, тяжелоатлетическим рывком подняла чудовищный свой портфель и ушла.

— Что случилось, Вась? — спросил я.— Что-нибудь дома? В газете?

— Да нет, просто проезжал мимо, дай, думаю, зайду, посмотрю, как там Юрочка.

— Вась,— сказал я,— у тебя и без того блудливые глаза, а сейчас в них просто смотреть непристойно. Давай выкладывай, зачем пришел.

Мы шли по непривычно тихому школьному коридору, и Вася с лживым интересом рассматривал портреты великих писателей на стенах. Классики неодобрительно косились на него и молчали.

— Понимаешь, в определенных кругах и сферах считается, что единственный человек, который пользуется у тебя непререкаемым авторитетом,— это я. Ничего в этом удивительного, разумеется, нет. Как известно, я умен, рассудителен не по годам, крайне эрудирован и вообще...

— Вась, у меня сегодня было шесть часов, и уши изрядно устали от болтовни.

— Ладно, Юраня. Не буду. Понимаешь, Галя

твоя беспокоится за тебя. Ты переутомился, у тебя расстроена нервная система. Она предлагает, чтобы ты отдохнул хотя бы две недельки в «Заветах», а ты отказываешься. Она поговорила с моей Валькой, а та снарядила меня. Вот и все. Ты, старик, не обижайся. Если тебе этот разговор неприятен, я тут же замолчу. Но ты же знаешь, как я к тебе отношусь...

Вася — стихийный эгоист. И если он может говорить о ком-то, кроме себя, это значит, он любит этого человека. А на моей памяти за последние четыре или пять лет Вася уже второй раз говорит со мной не о себе, а обо мне.

— А в чем моя переутомленность, тебе сказали?

— Странные, навязчивые сновидения, нелепые идеи... Пойми, старик, это не моя точка зрения. У меня, как ты знаешь, своих точек зрения нет. Не держим-с. И тебе не советую. Накладное дело. Защищай их, следи за ними — хуже детей.

— Не трепись. Почему ты всегда стараешься играть роль циника?

— А ты не догадался?

— Нет.

— Чтобы скрыть за напускным цинизмом легко ранимую душу. Ранимую душу кого?

— Не знаю.

— Идеалиста и романтика. Я идеалист и романтик цинического направления. Или циник романтического склада.

— Вася, ты знаешь, как ты умрешь? Ты погибнешь под обвалом собственных слов.

— Это была бы прекрасная смерть, смерть журналиста.

Мы вышли из школы. Шел мелкий, колючий снежок, сухой и похожий на манную крупу. На землю он не ложился и исчезал неведомо куда.

Мы сели в Васину машину. «Жигуль» был совсем новенький и девственно пах свежей краской. Не то что мой дребезжащий ветеран.

— У тебя есть часок или полтора? — спросил Вася.

— Есть.

— Знаешь что, давай поедем куда-нибудь за город и побродим хоть чуть-чуть по лесу? А?

— С удовольствием.

В машине было тепло. Вася молчал, и я думал о Янтарной планете, о Нине Сергеевне, о профессоре, о чтении мыслей. Неужели вся эта чертовщина происходит со мной? Да не может этого быть. Я вдруг увидел себя со стороны. Связной с незнакомой цивилизацией. Учитель английского языка Ю. М. Чернов берется связать человечество с народом Янтарной планеты.

И вся нелепость, смехотворность ситуации стала явной. Это же чушь! Бред! Почему я? Разве это может быть? Разве этому есть место в привычном моем мире? В моем мире есть Сергей Антошин с его мамашей, математик Семен Александрович с журналом, прижатым к груди, задолженность по профвзносам, дни зарплаты. Галина теплая и душистая шея, которую так приятно целовать, первозданная пыль холостяцкой квартиры Илюшки Плошкина... Какая планета, какая цивилизация, какие сны? О чем вы говорите? Не на машине меня за город возить нужно, а лечить от парафренного синдрома с элементами сверхценных идей и онейроидного синдрома.

Я видел себя мысленным взором в центре огромной толпы, и все показывали на меня пальцами, поднимали детей и смеялись: «Он установил связь с чужой цивилизацией! Смотрите на этого учителишку!»

Стоп, сказал я себе. А как же чужие мысли? Или это тоже химера? И железный Борис Константинович, давший трещину?

Я сосредоточился и вместо метания и кружения своих мыслей услышал неторопливый, покойный шорох слов, копошившихся в Васиной голове:

«Хорошо тянет... хотя, похоже, клапанок постукивает... Не забыть во время профилактики. А может быть, не связываться с этим очерком? Мороки много... Хорошо, к Юрке заехал... Жаль, так редко видимся... Друг...»

Спасибо, Вася. Если человек называет человека другом даже в тайнике своих мыслей, значит, он действительно считает его другом. Хорошие у меня друзья. И вообще меня окружают удивительные люди. И даже профессор оказался вовсе не таким жестяным, каким представлялся сначала.

Я глубоко вздохнул. Вася скосил на меня один глаз.

— Чего вздыхаешь?

— Так... Что у тебя нового в газете?

— Главный вдруг почему-то проникся ко мне. Отличает и голубит.

— Поздравляю.

— Ты что, смеешься, старичок? Это же несчастье.

— Почему?

— Ах ты, святая простота, классный руководитель. Я кто? Спецкор. Надо мной кто? Кому не лень! Его привечает главный? Значит, надо сделать так, чтоб не привечал. Зачем лишний конкурент? Осторожненько, конечно, не торопясь. Классик-то умнее тебя был, товарищ презент перфект.

— Какой классик?

— А этот... тот, кто сказал: минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь. Товарищ Грибоедов, если не ошибаюсь.

Нет, Галя все-таки права, подумал я. Я не борец по натуре. Доверчив, неэнергичен, всегда готов идти на компромисс с действительностью и самим собой.

Наверное, Вася преувеличивает. А может быть, и нет. Он весь в каких-то сложнейших интригах, суть которых я никогда не мог понять. Он делает вид, что страдает от них, но на самом деле он купается в них, плавает, как рыба. Я бы не мог. Я ничего не понимаю в людях. Я по-детски доверчив. Я не умею разговаривать с начальством.

Жизнь казалась мне огромной, сложной, полной запутанных лабиринтов, ловушек, капканов.

— Может быть, остановимся здесь?

— Давай.

Лесок начинался метрах в ста от шоссе. Ели казались вырезанными из темно-зеленого, почти черного бархата и приклеенными к серому низкому небу. Мы шли по нагой, не прикрытой еще снегом, смерзшейся земле. Опавшие листья шуршали сухо и печально. И все-таки это правда. Она реальна, эта тончайшая нить, протянувшаяся из невообразимой дали ко мне. Я здесь ни при чем. Я не претендую ни на какие лавры, чины, звания, награды. По каким-то неведомым причинам нить пришла ко мне...

Я вдруг вспомнил рассказ психиатра о человеке, в руках которого сходились нити от всей Вселенной. Бедный. Если я чувствую на плечах груз, нести который мне помогают У и его братья, что же должен был чувствовать этот несчастный человек в клинике? Ведь нити от Вселенной в его руках — для него абсолютная реальность. Они реальны, как реален для меня У, как реален этот чахлый пришоссейный лесок, припудренный холодной позднеосенней пылью.

И снова я почувствовал себя на ничейной земле между явью и фантазией, в зыбком, неясном тумане.

— Вась,— сказал я,— произнеси про себя какую-нибудь фразу. Чтобы я не мог догадаться, какую.

Вася остановился и посмотрел на меня. Рыжее кожаное пальто казалось удивительно красивым и богатым на фоне голых березок и мохнатых елей. Да и сам он был хорош — широкоплечий, уверенный в себе. Сильный.

— Почему все люди так банальны? — спросил я.— «Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора». Почти все вспоминают стихи.

Вася бросил на меня быстрый взгляд.

— Давай еще раз.

Вася наморщил лоб. «Что бы придумать... как это он делает? — слышал я.— Ага. Очерк писать не буду. С ним слишком много мороки».

— И не надо,— сказал я.— Не пиши этот очерк, если с ним столько мороки.

— Юрка,— вдруг крикнул Вася,— значит, это правда?

— Что? — испуганно спросил я.

— То, что ты телепат? Читаешь мысли? Валька мне говорила что-то, но я пропустил мимо ушей — бабья болтовня. Юрочка, дитя, ты хоть понимаешь, что это такое?

— Не очень.

— Идиот! Маленький бедный идиот! Да ты... да ты на секундочку представь, что это такое! Это же колоссально! Можешь еще раз?

Я еще трижды называл Васе произнесенные им про себя фразы, и он пришел в совершеннейший экстаз. Он носился по лесочку, как угорелый, и все причитал, что я идиот и ничего не понимаю. Может быть, я и действительно идиот, раз так много людей с таким пылом убеждают меня в этом?

Вдруг Вася разом успокоился и задумчиво посмотрел на меня.

— Юрка, а многим ты уже показывал эти фокусы? — спросил он.

— Ну, нескольким людям.

— А они не будут трепать языками?

— Не знаю...

— Я подумал, что это не такая простая штука, как может показаться с первого взгляда. Обладая таким даром, ты перестанешь быть тем блаженненьким Юрием Михайловичем, которым был раньше...

— Почему?

— Да потому, что ты всесилен! Ты знаешь, что люди готовы отдать, чтобы узнать мысли ближнего своего? Ты, наконец, становишься просто опасным элементом, которого необходимо все время держать под контролем. Ты можешь быть кем угодно, начиная от вокзального вора...

— Вокзального вора?

— Конечно. Стой у багажных автоматов и слушай, как люди повторяют про себя комбинацию цифр, когда засовывают в камеру чемоданы. А потом выбирай, что понравилось.

— Спасибо, Вася, ты открываешь мне глаза.

— Тобою может заинтересоваться милиция, органы госбезопасности.

— Понимаешь, это не моя собственность, и я не могу ею распоряжаться.

— Что не твоя собственность?

— Эта способность читать чужие мысли.

— А чья же, моя?

— Нет. Это доказательство, посланное мне, чтобы я мог убедить людей в том, в чем убедить невозможно.

Вася остановился, положил мне руку на плечо и пристально посмотрел в глаза.

— Что с тобой, Юрка? Неужели Галка твоя все-таки права? Да ты не волнуйся, ты не представляешь, как они сейчас лечат людей. Валька поможет, все сделаем. Попринимаешь какой-нибудь дряни, отдохнешь...

Я засмеялся. Как, в сущности, люди похожи друг на друга, какая одинаковая реакция!

Вася смотрел на меня с таким страхом, с таким состраданием в глазах, что волна благодарности прямо нахлынула на меня.

— Не смотри на меня так, друг Вася. И не оплакивай. Ты журналист и должен ценить необычные истории. Послушай самую необычную историю из всех, что ты когда-нибудь слышал. Или услышишь. Я уже раз пытался рассказать тебе, но ты был пьян и слишком занят собой.

Я рассказал о сновидениях, о Янтарной планете.

Я не знаю, поверил Вася мне или нет, потому что он стал непривычно тихим и почти печальным.

Когда мы вышли из леса и подошли к машине, он вдруг протянул мне ключи.

— Ты можешь вести машину?

— А почему же нет?

— Садись тогда за руль. Я не могу. Я должен переварить хоть как-то твой рассказ.

Я понимал его. Если, несмотря на отблеск Янтарной планеты, несмотря на заряды бодрости, посылаемые У, и мне минутами сердце сжимает печаль, что же должны чувствовать другие? Печаль, невыразимую печаль, ибо Вселенная прекрасна и бесконечна, а мы малы и смертны, и гул вечности заставляет сжиматься сердце, как сжимается сердце при виде совершенной красоты. Чехов знал это.

Глава 9

Когда я пришел домой, Галя уже ждала меня.

— Где ты был так поздно? — спросила она.

Фальшь в ее голосе резала слух. Она же прекрасно знала, что Вася заехал за мной. Она об этом просила.

— Вася ко мне заезжал.

Галя неважная актриса. Ей, наверное, казалось, что она играет роль молодой женщины, разговаривающей, как обычно, со своим мужем, играет эту роль хорошо, в стиле лучших традиций Художественного театра. А я видел, как она напряжена, как неестественны и вымучены ее движения, голос, слова.

Симпатия, не говоря уж о любви,— хрупкая штука. Это волшебный зеленый луг, который на мгновение изредка вспыхивает при закате. Чуть изменилось что-то — и вместо сказочной зелени — обычный закат.

Я смотрел на жену и тщетно пытался дождаться хотя бы маленького зеленого лучика, который так часто вспыхивал раньше. Зеленого лучика не было. Была двадцатичетырехлетняя среднего роста женщина с довольно обычными чертами лица, с более крупными, чем следовало бы, руками. Сколько раз она заявляла, что садится на диету белковую, яблочную, капустную, молочную, кишмишную, мясную, очковую и бог знает какую еще. А килограммчиков пять лишних у нее так и остались, подумал я, глядя, как обтянули ее домашние брюки.

Мне вдруг стало стыдно. Я смотрю на свою жену и выискиваю в ней недостатки, выискиваю придирчиво, некрасиво. Что я делаю? Это же Галя, Люша, то самое существо, которое совсем недавно наполняло мое сердце томительной сладостью, стоило мне только посмотреть на нее.

Мы познакомились в метро. Я даже помню, где это было. На кольцевой между Белорусской и Новослободской. Я смотрел на ноги людей, сидевших

напротив. Я люблю смотреть на ноги. Усталые, нетерпеливые, кокетливые, самоуверенные... Какие красивые ножки, подумал я. Именно этими довольно пошлыми, но точными словами. И начал скользить взглядом от черных туфелек на толстой подошве вверх к круглым коленкам, к серой юбке и серой кофточке, к прекрасному овалу лица под серой же маленькой шапочкой. Глаз я не увидел, потому что глаза были опущены на толстенную книжку, которую она держала в руках. Если бы она была менее красива, я бы попытался догадаться, что за книгу она читает. Но книга меня не занимала. Меня занимали ее глаза. У этой девушки, подумал я, должны быть и глаза красивые.

И она подняла глаза. Они были красивыми. И она вся была как раз такая, какой должна была быть. И я улыбнулся. Просто так. А она сморщила нос и снова уткнулась в книгу.

Перед Курской она встала. Я встал за ней. Я видел ее в стекле дверей, на которых написано, что они открываются автоматически. Она посмотрела на мое отражение и снова смешно вздернула носик, и я улыбнулся. Мимо нас проносились яркие лампы на стенах тоннеля, змеились кабели, а я все ждал, пока снова увижу, как она морщит нос.

Мы вышли вместе. Я шел за ней на расстоянии шага, но она не оборачивалась. Я так не мог бы. Я не мог бы идти, не оборачиваясь, зная, что за мной идет человек, который смотрит на меня восхищенными глазами. А она могла. В этом и состояла разница между нами.

Я трусоват по натуре, хотя всячески маскирую это. Преимущественно отчаянно храбрыми поступками. Я так боялся, что потеряю в следующее мгновение эту девушку, что сказал ей:

— Это бессмысленно.

Она обернулась, а я ускорил шаг и оказался уже рядом с ней.

— Что бессмысленно?

— Бессмысленно вам пытаться уйти от меня.

— Почему?

— Потому что вы такая, какой должны быть.

Впоследствии Галя меня уверяла, что это была гениальная фраза, что ни одна женщина на свете не смогла бы противиться соблазну узнать, что это значит. Через полгода мы поженились.

И вот теперь я ловлю на себе ее настороженный взгляд и всем своим существом чувствую, знаю, что она не такая, какой должна быть. Она не выдержала испытания Янтарной планетой и чтением мыслей.

Может быть, не протянись ко мне паутинка от У, она не смотрела бы на меня так, как смотрит сейчас. Не знаю. Я знаю, что мне снова грустно, потому что я слышу Галины слова, которые она не произносит. Возможно, профессор был прав, когда говорил, что за непроизнесенные слова не извиняются. Но я слышал Галины слова, и они были мне неприятны.

— И со всеми этими штуковинами я должен буду спать? — спросил я Нину Сергеевну, кивая на датчики электроэнцефалографа.

— Обязательно. Мало того, раз вы уж сами так настаивали, Борис Константинович и я решили провести максимально точные исследования. Поэтому мы будем не только снимать энцефалограмму, но и замерять БДГ.

— Это еще что такое?

Я никак не мог найти для себя верный тон в разговорах с Ниной Сергеевной. То мне казалось, что голос мой сух, как листок из старого гербария, то я ловил себя на эдакой разухабистой развязности. А мне хотелось быть с ней умным, тактичным, тонким, находчивым...

— Это наши сокращения. Быстрые движения глаз, по-английски Rapid eye movement, или REM сокращенно.

— Это во сне? Быстрые движения глаз во сне? Я же сплю с закрытыми глазами.

— Конечно. Просто исследователи заметили, что в определенных фазах сна глаза быстро двигаются под закрытыми веками. Впоследствии, как я, по-моему, вам уже говорила, эту фазу назвали быстрым сном. Именно во время быстрого сна человек видит сны.

— Значит, вы будете регистрировать мой быстрый сон?

— Совершенно верно. Самописцы энцефалографа отметят появление волн, характерных для этой фазы, а система регистрации БДГ сработает, со своей стороны.

— А как же вы следите за движениями глаза, да еще у спящего, под закрытыми веками?

— Мы приклеим вам на веки кусочки зеркальной фольги, и, когда вы заснете, эта фольга будет отражать свет. Быстрые дрожания этого зайчика и будут соответствовать вашим БДГ. Видите, я вам целую лекцию прочла.

— Спасибо, Нина Сергеевна. Но как же вы? Я буду дрыхнуть, обклеенный датчиками, как космонавт, а вы...

— А я буду работать. Когда я пришла в лабораторию сна, муж все шутил, что я превращусь в соню. Оказалось, все наоборот. Большинство опытов со спящими...

Я не слушал, что она говорила. Муж...

— А как теперь, привык он? — спросил я и ужаснулся фальшивости своего голоса.

Она щелкнула одним выключателем, потом вторым, третьим. Потом просто сказала:

— Мы разошлись. Два года тому назад.

Мне захотелось крикнуть: «Умница! Браво! Молодец! Правильно! Так ему и надо!» Вместо этого я неуклюже пробормотал:

— Простите...

— Не за что. Дела давно минувших дней... Ну, Юрий Михайлович, пора укладываться, уже полдвенадцатого.

— Еще немножко,— жалобно попросил я, и Нина Сергеевна улыбнулась.

Должно быть, я напомнил ей большого глупого ребенка, который никак не хочет укладываться. Прекрасный способ понравиться женщине — играть роль умственно отсталого ребенка. Ухаживать, засунув большой палец в рот. Я посмотрел на нее. Она наклонилась над самописцем, заправляя в него рулон бумаги. Лицо ее было красивым, сосредоточенным и необыкновенно далеким. От кого далеким, от меня? А какое, собственно говоря, я имел право на близость? И все равно на душе у меня было весело и озорно. Все еще впереди. Все еще будет. И в этом будущем обязательно будет женщина, которая захлопнула крышку самописца и сказала мне со слабой улыбкой:

— Пора, пора. Вы же сами говорили, что обычно ложитесь в это время.

— Хорошо,— нарочито театрально вздохнул я.— А фольгу мне наклеите вы?

— Я.

— Тогда я закрываю глаза.

Я лег на неудобное и неуютное лабораторное ложе. Так, наверное, подумал я, ложатся на стол лабораторные собаки, мыши, кролики — великая армия безвестных служителей науки.

Сердце мое билось. Нет, я не боялся. Я даже не нервничал. Я был полон радостного ожидания, ощущения кануна праздника, во время которого я снова стану У, увижу янтарно-золотой отблеск моей далекой планеты. И самописцы обязательно зарегистрируют что-нибудь необычное. Такое, что заставит нас снова встретиться с Ниной Сергеевной. И ее улыбка окрепнет, станет живой и теплой, как ее пальцы, что прикоснулись к моим векам. Удивительные пальцы. Боже, как, в сущности, мало нужно человеку для счастья! И как много. Лежать на нелепом казенном топчане, опутанным проводами, в погоне за далекой химерой, но ощущать при этом прикосновение ее пальцев к векам — как это было прекрасно! Спасибо, У.

На веко мне упала холодная капелька. Нет, это, конечно, не слеза брошенной мужем-негодяем Нины Сергеевны. Это, наверное, капелька клея. Клей начал расплываться, склеивать глаза. Руки Нины Сергеевны приносили сон. Я не сопротивлялся ему. Сон нес с собой детские ожидания, новогоднее нетерпение, обещание праздника.

Я вплывал в сон спокойно, как в теплую маленькую лагуну, и рядом со мной плыла Нина Сергеевна. Веки у нее были серебряными, и я понял, что это фольга, чтобы отражать мои взгляды. Я посмотрел на нее, но она начала исчезать, потому что меня звал У.

Это было удивительное сновидение. Я шел вместе со своими братьями по янтарной земле к низкому длинному зданию, которое я уже видел. Здание, в котором хранился запасной мозг жителей планеты.

Мы вошли в зал. Бесчисленные ниши на стенах, и над каждой — маленький красный огонек, рубиновая тлеющая точка.

Я знаю, для чего мы пришли. Мы прощаемся с Ао, который погиб при взрыве. И мы приветствуем Ао, который снова рождается сегодня. Я полон поющей радости. Я — одно целое с моими братьями. И прибой их мыслей и чувств делает меня всемогущим и вечным. Я — струйка в потоке, я — частица атомного ядра, связанная невидимыми, но могущественными узами с другими частицами. Каждую секунду, каждое мгновение я ощущаю себя единым целым с моими братьями.

Но вот я улавливаю скорбь. Я улавливаю ее и излучаю ее. Потому что все мы думаем сейчас об Ао. Мы все знаем, как он погиб. Смерть его была почти мгновенной. Он не успел подумать о ней. Он ничего не испытал. Взрыв установки, с которой он работал, разметал все вокруг. Он не успел попрощаться с нами. Он не успел осознать, что уходит от нас. И мы поняли, что его нет, потому что ниточка его связи с нами всеми вдруг исчезла из того Узора, что и есть наше братство, наш мир. И Узор обеднел, и мы сразу осознали это, потому что даже без одной нити Узор не может быть полным. И вот мы пришли сюда, в место, которое называют Хранилищем, чтобы снова дать жизнь Ао, ибо Узор не может жить даже без одной-единственной нити.

И в нас звучала мелодия Завершения Узора, особая мелодия, которую мы создаем и слышим каждый раз, когда Завершаем Узор. Это самая торжественная и самая прекрасная из всех наших мелодий, потому что Завершение Узора — самое торжественное из всех наших дел и событий.

Прилетают и уходят в бархатную тьму пространства наши корабли, протягиваются паутинки братства в далекие миры, но Завершение Узора — самый любимый наш праздник. И никогда ни одна мелодия не звучит в наших душах с такой грозной и яростной нежностью, как мелодия Завершения Узора. Гроза и ярость — это наше непрекращающееся сражение с временем, с этим чудовищем, которое пожирает все, от звезд до любви. А нежность — наше чувство, когда мы побеждаем его, это прожорливое время.

Из боковой двери вынесли новое тело. Двое избранных положили его в центре зала и направились к нише, над которой — единственной в зале — не тлел рубиновый огонек. Этот огонек перестает тлеть, как только рвется нить, связывающая мозг каждого из нас с мозгом в Хранилище.

Избранные вынули тускло мерцавший мозг из ниши и вложили туда другой. Тот, что они вынули, они поднесли к лежавшему в центре зала телу и вложили в его голову. И сразу же над нишей Ао начал тлеть рубиновый огонек.

Мелодия Завершения Узора все поднималась и поднималась к вершинам бесконечно печальной и бесконечно радостной гармонии. Она печальна и радостна одновременно, ибо высшая гармония объединяет в себе все. Мелодия поднималась, пока наконец не взорвалась торжествующим фейерверком. Узор был завершен.

Тело в центре зала шевельнулось раз, другой, и новый Ао встал. Его нить вплелась в наш Узор. Мы одержали еще одну победу над всепоглощающим временем, вырвали из его лап нашего брата.

Когда я открыл глаза в лаборатории сна, я услышал слабое шуршание самописца. В комнату неохотно вползло серенькое утро.

Я почувствовал себя таким счастливым, таким бодрым, что мне стало стыдно. Если бы я только мог сделать так, чтобы и другие услышали мелодию Завершения Узора... Если бы ее могла услышать Нина Сергеевна... «Где она?» — подумал я.

Я осторожно сел. Что-то мешало глазам. Ах, да, это же фольга, которую мне приклеивала Нина Сергеевна на веки. Наверное, ее можно снять. Я содрал с век серебряные пластиночки, похожие на рыбью чешую. Снял с себя электроды, потянулся и вдруг увидел Нину Сергеевну. Она спала, сидя в кресле.

Я стоял, и смотрел на нее, и слушал, как шуршит самописец и как поскрипывает его перо. Внезапно она открыла глаза и посмотрела на меня. Она не вскочила на ноги, не стала извиняться, что заснула, что плохо выглядит после бессонной ночи, не стала ничего спрашивать. Она смотрела на меня и вдруг улыбнулась все той же слабой, неопределенной улыбкой, какой я не видел ни у кого, кроме нее.

— Как сладко я прикорнула,— вздохнула она.— Сколько времени?

— Половина восьмого уже.

— О боже, я продрыхла в кресле часа два. Как только прекратила регистрировать БДГ, решила отдохнуть немного. Ну, а как вы, Юрий Михайлович?

— О, Нина! — сказал я с таким чувством, что она вздрогнула и выпрямилась в кресле.— Если бы вы только знали, как это было прекрасно!

— Что?

— Нет... потом. Я не смогу вам рассказать. Где я возьму слова, чтобы описать вам мелодию Завершения Узора? И не существует таких слов...

Нина Сергеевна посмотрела на меня, и в сереньком ноябрьском утре глаза ее были огромны, темны и печальны.

— Вам грустно? — спросил я.

— Да, — кивнула она.

— Почему?

— Не знаю...— Она энергично встряхнула головой, и волосы ее негодующе метнулись.

— Нина... Сергеевна, у меня к вам просьба.

— Слушаю, Юрий Михайлович.

— Могу я вас называть просто Нина?

Нина Сергеевна подумала и серьезно кивнула мне.

— Да, конечно.

— Спасибо, Нина! — вскричал я, и она засмеялась. Я тоже засмеялся. Стоит человек в лаборатории сна в пестренькой, глупой пижаме, стоит перед женщиной в белом халате и кричит ей «спасибо».

Нина встала, томно, по-кошачьи, потянулась и сказала:

— Ну-ка, посмотрим, что там наскребли самописцы. А вы одевайтесь пока. Борис Константинович взял с меня слово, что к восьми тридцати духа вашего здесь не будет.

Я пошел в маленькую комнатку, где мучил профессора, и начал одеваться. Какое зто счастье — сидеть в маленькой пустой комнатке, натягивать на себя брюки и думать о детски незащищенном лице Нины, когда она спала в кресле. И слышать мелодию Завершения Узора. Спасибо, Нина, спасибо, У, спасибо, Борис Константинович, спасибо всем моим друзьям и знакомым за то, что они создали мир, который так добр ко мне.

— Юрий Михайлович! — крикнула Нина из соседней комнаты, и я вскочил, запутавшись в брючине.

— Что?

— Идите быстрее сюда, взгляните.

Босой, застегивая на бегу пуговицы, я влетел в лабораторию. Нина держала в руках длинный рулон миллиметровки с волнистыми линиями. Я встал рядом с ней и уставился на бумагу.

— Вот, смотрите.

Я смотрел на волны и зубчики. Волны и зубчики.

— Вы видите?

Нина бросила на меня быстрый взгляд и засмеялась. По крайней мере она должна быть благодарна, что я так веселю ее. Босой имбецил, смотрящий на миллиметровку с видом барана, изучающего новые ворота. Очень смешно.

— Сейчас я вам все объясню. Видите, вот зти зубчики мы называем альфа-ритмом. Здесь вот, в самом начале. Он соответствует состоянию расслабленности, пассивного бодрствования. Понимаете, Юра?

Юра! Она назвала меня Юрой! Да здравствует альфа-ритм, да здравствует пассивное бодрствование! Отныне я всегда буду пассивно бодрствовать, лишь бы она называла меня Юрой!

— Понимаю,— с жаром сказал я.

— Ну, и прекрасно. Идем дальше. Амплитуда ритма снижается, периодически он исчезает.

Зубчики действительно снижались. А может быть, и нет. Я не очень смотрел на них. Я смотрел на Нинин палец, тонкий и длинный палец. Совсем детский палец. А может, зто мне просто хочется видеть ее беззащитной и хрупкой и соответственно воспринимать себя самого бесстрашным рыцарем, закованным в здакие пудовые латы — мечту ребят, собирающих металлолом.

— Юра, вы смотрите?

— Да, да, Нина, клянусь вам! Никогда ни на что я не смотрел с таким интересом!

— Юра, а вы... всегда такой... как бы выразиться?..

— Дементный? — спросил кротко я.— Не стесняйтесь, у меня есть близкий друг, которого я очень люблю. Он еще много лет назад нашел у меня все симптомы и признаки слабоумия.

— Не болтайте, я вовсе не то хотела сказать...

— А что же?

— Не знаю... или, может быть... ага, нашла слово: небудничный? Небудничный. Конечно.

— Только по праздникам. Но сегодня у меня двойной, а может быть, и тройной праздник. Я был на Янтарной планете, я с вами, и мы сейчас увидим что-нибудь интересное. Какие же зто будни?

— Спасибо.

— За что?

— За все. А теперь смотрите на бумагу.— Голос Нины стал нарочито суровым.— Мы с вами остановились на стадии «А». Это самое начало сна. Она у вас очень короткая, но не настолько, чтобы зто что-то значило. Двигаемся дальше. Наступает дремота, альфа-ритм все уплощается, появляются нерегулярные совсем медленные волны в тета и дельта диапазонах. Видите?

— Вижу.

— Это вторая стадия «В» переходит в сон средней глубины. Стадия «С».

— Это уже сон?

— Конечно. Видите вот зти почти прямые участочки?

— Вижу.

— Это так называемые сонные веретена.

— Это я так сплю?

— Спите, спите, Юра. И не мешайте, когда вам объясняют, как вы спите. Тем более что мы уже в четвертой стадии. В стадии «Д». Стадия «Д» — зто глубокий сон.

— Сновидения здесь?

— Нет, практически в стадии глубокого сна сновидений нет. А если и бывают, то они вялы, неярки. Смотрите на волны. Видите, какая высокая амплитуда? Это регулярные дельта-волны и те же сонные веретенца.

— Боже, кто бы мог подумать, что сон — такое сложное дело!

— Все на свете сложно, только дуракам все кажется ясно. Дуракам и еще, может быть, гениям...— Нина вздохнула и тряхнула головой, словно прогоняла от себя образы дураков и гениев.— И вот, наконец, стадия «Е». Совсем редкая дельта-активность.

— Смотрите, снова зубчики,— сказал я, как идиот.

— Это и есть быстрый сон. Быстрые и частые волны. Очень похожи на ритм бодрствования. Сейчас посмотрим время. Ага, примерно двенадцать сорок. Итак, в двенадцать сорок вы начали видеть сны. Проверим по БДГ.— Она взяла другой рулончик, поменьше.— Вот всплеск. Время, время... Двенадцать сорок. Совпадение полное.

— А что же здесь необычного? — спросил я.

— Сейчас увидите. Вот ваш быстрый сон кончается. Занял он всего пять минут.

— Это много или мало?

— В начале ночного сна зто обычно. Быстрый сон ведь бывает три, четыре, пять раз за ночь. К утру продолжительность периодов быстрого сна может доходить до получаса.

— И за такие коротенькие сеансы люди успевают увидеть столько интересного?

— Вообще-то в большинстве случаев протяженность события во сне более или менее соответствует протяженности такого же события в реальной жизни. Но бывают и исключения. Во всех учебниках описывается один шотландский математик, который во сне часто переживал за тридцать секунд музыкальный отрывок, который обычно длится полчаса. Но дело сейчас не в зтом.— Нина снова подняла длинную змею миллиметровки.— Вот коротенький промежуток, и снова период быстрого сна. Это уже не совсем обычно.

— Что не совсем обычно?

— Очень маленький интервал. И главное — второй ваш быстрый сон тоже длился ровно пять минут.

— А должен сколько?

— Что значит «должен»? Обычно продолжительность периодов быстрого сна увеличивается к утру. А у вас — нет. Мало того, Юра. Смотрите. Вот, вот, вот... Вы видите?

— Что? То, что их длина одинакова?

— Вот именно. У вас было десять периодов быстрого сна, и все совершенно одинаковые — по пять минут. Я такой ЭЭГ не видела ни разу. Странная картина...

Что это, думал я, сигналы или не сигналы? Наверное, сигналы. А может быть, так уж я просто сплю?

— Нина, скажите, а может, эта картина имеет естественное происхождение? Я имею в виду десять своих снов?

Нина наморщила лоб.

— Не знаю, надо подумать, показать Борису Константиновичу. Но эти десять периодов... И даже не то, что обычно число этих периодов редко бывает больше шести за ночь... Меня поражает их одинаковость. Ничего похожего никогда не видела...

Нина смотрела на змейку, вычерченную самописцем. Змейка то благодушно расправлялась, то собиралась в мелкие злые складочки.

— Что-нибудь еще, Нина? — спросил я и осторожно дотронулся до ее локтя. Локоть был теплым и упругим. Стать позади нее. Поддеть ладонями оба ее локтя. Привлечь к себе. Я вздохнул.

— Я сразу и не обратила внимания.

— На что?

— На интервалы между быстрыми снами. Девять интервалов, и все время они растут.

— Интервалы?

— Угу.

— А что это значит?

— Не знаю, Юра. Могу вам только сказать, что ЭЭГ совершенно не похожа на нормальную картину сна.— Нина посмотрела на часы.— Юра, вам пора.

— А вы остаетесь?

— Мне еще нужно кое-что привести в порядок. До свидания.

Это было нечестно. Она не могла так просто сказать «до свидания» и выставить меня. После всего, что случилось... «А что, собственно, случилось?» — спросил я себя. То, что я спал в одной комнате с Ниной, не давало мне ровным счетом никаких прав на особые отношения. Что еще? Коснулся рукой локтя? И все.

— Нина,— сказал я тоном хнычущего дебила,— неужели же нам не придется повторить эксперимент? А вдруг все это вовсе не так?

Нина улыбнулась своей далекой слабой улыбкой. Лицо у нее после бессонной ночи было усталое и слегка побледневшее. А может быть, мне оно лишь казалось таким в свете серого ноябрьского утра. Но оно было прекрасно, ее лицо. Если бы и у меня был свой Узор, как на Янтарной планете, я бы понял, наверное, что мне не завершить его без нее.

Спасибо, У, спасибо, странный далекий брат. Спасибо за радость общения и за радость, которую я испытываю, глядя на это побледневшее и осунувшееся женское лицо с большими серыми глазами. Спасибо за янтарный торжествующий отблеск, который подкрашивает скучное и бесцветное, из бледной размытой туши, начало дня. Спасибо за десять маленьких быстрых снов, в которых ты познакомил меня с Завершением Узора. И что бы ни случилось со мной впредь, я уже побывал в Пространстве, и никто никогда не отнимет у меня вашего привета.

— До свидания, Нина.

Она ничего не ответила. Она стояла и держала в руках бесконечную ленту миллиметровки, и лоб ее был нахмурен.

Глава 10

Мы сидели с Галей в кино. На вечернем сеансе, на который я купил билеты, когда возвращался из школы. Старая французская комедия с покойным Фернанделем в главной роли. Трогательные в своей наивности и простоте трюки.

Где-то я читал, что волк, желая избежать схватки с более сильным соперником, подставляет под его клыки в знак смирения шею, и тот не трогает его. Так и фильм. Вот моя шея, я сдаюсь.

Галя просунула свою руку под мою, и ее ладошка легла на мою ладонь. Теплая волна нежности нахлынула на меня. А может быть, не столько нежности, сколько вины и угрызений совести.

Но кто знает, что вернее цементирует отношения двух людей...

— Люш,— тихонечко прошептал я.

Она не ответила. Она лишь быстро прижала свою ладошку к моей.

Жест успокаивающий, ободряющий. Ничего, Юра, все будет в порядке. Я тебя все-таки уговорю, ты поедешь к тете Нюре в «Заветы», в ее уютный домик, будешь пить каждый день парное молоко и забудешь про свои фантазии.

Если бы она только не была так уверена в своей правоте, подумал я и резко вырвал свою ладонь из-под ладони Гали.

Два дня я не слышал чужих мыслей и совсем было забыл о них.

А сейчас, сидя рядом с женой в темном зале кинотеатра, я незаметно для себя включился в неторопливый поток ее мыслей.

Она думала о тете Нюре, и моя виноватая нежность снова уперлась в плотину ее здравого смысла.

Слишком здравого.

Если бы она только могла понять, если бы только треснул ее стальной панцирь непогрешимости... А что тогда?

Да и хочу ли я, чтобы этот панцирь лопнул? Если быть честным с собой?

И снова чувство вины начало понемножку подтягивать из моего сердца резервы нежности. И снова ее рука ободряюще похлопала мою. И снова я услышал медленные и уверенные ее мысли:

«Ему, видно, совсем плохо... бедный... А все из-за упрямства». Мне захотелось крикнуть ей во весь голос: мне хорошо, не жалей меня! Это я должен жалеть тебя!

Когда мы возвращались домой, Галя была весела и оживленна. Если уж она решает что-нибудь, то никогда не останавливается на полпути. Она — как снаряд, летящий к цели: может попасть или промахнуться, но остановиться или повернуть назад — никогда.

А она твердо решила не подавать виду, не раздражать больного мужа. При душевных расстройствах и психических заболеваниях главное — чуткость родных и близких.

— А что, если сделать на ужин картофельные оладьи? — спросила Галя.— Натрем сейчас десяток картофелин...

Картофельные оладьи — мое любимое блюдо. Но, поскольку оно, как известно, довольно трудоемко, изготовляет его Галя не так-то часто.

Я чистил картошку, а Галя натирала ее на терке. Потом мы поменялись ролями. Горка сероватой кашицы все росла и росла в тарелке, темнела, а я думал, что не все на свете, к сожалению, можно исправить при помощи картофельных оладий.

— Юрочка,— сказала мне на большой перемене Лариса Семеновна,— что стало с вашим Антошиным?

— А что такое?

— Метаморфоза. Получил у меня четверку.

— О, Лариса Семеновна, боюсь сглазить. Сергея как подменили.

— Но все-таки, как это вам удалось?

— Мне?

— Вы же классный руководитель. И отвечаете за все на свете, от успеваемости до первой любви, от отношений с родителями до увлечения спортом.

— Вы знаете, есть такой старинный английский анекдот. В семье родился мальчик. Внешне совершенно здоровый, но и в год, и в два, и в три он так и не заговорил. Ребенка таскали по всем врачам — и все напрасно. Родители смирились. Глухонемой — так глухонемой, что же делать? И вдруг однажды, когда ему было лет восемь, мальчик говорит за столом: «А гренки-то подгорели». Родители — в слезы. «Как, что, почему же ты раньше не говорил?» «А о чем говорить? Раньше все было нормально».

— Гм, и что же ваша бородатая притча должна означать?

— А то, что Антошин столько лет продремал, что в конце концов выспался и проснулся.

— Да ну вас, Юрочка, к бесу... Ваша скромность носит вызывающий характер. Истинная скромность состоит, знаете, в чем?

— Нет, не знаю.

— В признании своих заслуг, вот в чем.

Лариса Семеновна как-то очень ловко и лукаво подмигнула мне, и я подумал, что не одно, наверное, сердце начинало в свое время сильнее биться от ее подмигиваний.

— Ладно, Лариса Семеновна, раз вы уже разгадали меня, открою вам свою тайну. Чур, только никому ни гу-гу.

— Идет.

— Я незаконный сын Ушинского. Именно от него и унаследовал незаурядный педагогический талант.

— То-то я смотрю, вы на него похожи... Вы с классом, говорят, в планетарий собрались?

— Вы наш Талейран и наш Фуше. От вас ничего не скрыть. Сегодня после занятий.

Я люблю ходить со своими ребятами на разные экскурсии. В школе они все ученики. Стоит им выйти на улицу, как они мгновенно преображаются. Девочки сразу взрослеют и хорошеют, мальчики обретают юношескую степенность.

Они немножко стесняются организованности экскурсии и быстро разбиваются на группки в два-три человека.

Однажды нас увидел на улице математик Семен Александрович, и в глазах его мерцал ужас. Не помню уж, куда мы шли, по-моему, в Третьяковку. Назавтра я спросил, что так поразило его.

— А разве можно ходить не строем? — посмотрел он на меня.

Ах ты, милый мой Беликов, современный ты человек в футляре, хотел я сказать ему, но вовремя удержался.

Мы вышли из школы.

Наконец-то первый раз в этом году пошел настоящий снег. Пушистые, театральные, нарядные снежинки... Просто жалко было смотреть, как гибнут такие шедевры под колесами машин и ногами прохожих.

Алла Владимирова шла вместе с Сергеем Антошиным. Так-так-так. Похоже, что Сергей подымается по социальной лестнице класса, перепрыгивая через ступеньки. Идти рядом с Аллой Владимировой — это дается не каждому. Господи, да я сам бы с удовольствием взял ее под руку. Щеки Аллы горят на ветру, на длиннющих ресницах тают новогодние снежинки.

Ей бы закружиться сейчас в вихре вальса, вылететь на середину улицы, и вся улица замерла бы от восхищения.

А Сергей цвел и цвел от тихой гордости. Он и выше стал, и плечи отведены немножко назад, и грудь колесом под стареньким демисезонным пальтишком.

Милый мой Сережа, как я рад, что ты наконец проснулся. И все у тебя будет хорошо, только не засни опять.

Мы доехали на метро до Краснопресненской, а потом дошли пешком до планетария. Я уже не первый раз сижу под его куполом, но сегодня я смотрел на звездное небо совсем с особым чувством. Где они, мои далекие братья? В какой части безбрежного космоса?

Тонкая световая указка лектора легко скользила по ночному небу над темными силуэтами домов по его краям.

И снова, как уже случалось, на меня нахлынуло ощущение чуда. Я, Юрий Михайлович Чернов, добившийся в жизни только, пожалуй, того, что Сергей Антошин шел в планетарий рядом с Аллой Владимировой,— я оказался избранником, в которого почему-то уперлась указка из сновидений, посланных откуда-то из неведомых далей.

Интересно, как чувствуют себя настоящие избранники судьбы? Как несут свое бремя славы? Неужели привыкают к нему? Главное мое чувство — это чувство нереальности. Не может быть. Не должно быть.

А потом я думаю, что все-таки это есть. И знаю еще, что я сам ни при чем. Я просто та точка, в которую уперся луч сновидения.

Первый раз, когда я шел на ночь в лабораторию сна, я заранее сказал об этом Гале.

— А что, есть такая лаборатория? — спросила она.— И туда ходят со своими пижамами? Раньше это называлось по-другому.

На этот раз я сказал ей, что буду ночевать у Ильи. Она ничего не сказала. Пожала лишь плечами. Наверное, мы уже пересекли черту, из-за которой не возвращаются. Эдакий брачный Рубикон.

В лаборатории меня встретили Нина и Борис Константинович. Нет, положительно он изменился. Куда девался металл, из которого он был выкован? Живой человек с растерянными глазами. И симпатичный от этого.

— Главное — часы,— говорил он Нине.

— Но, Борис Константинович, я ведь и прошлый раз заметила время включения приборов.

— По каким часам?

— По своим, конечно.

— Давайте найдем что-нибудь поточнее. Как вы думаете, у кого могут быть более или менее точные часы? В лаборатории Бабашьянца?

— Сомневаюсь.

— Если вам не трудно, посмотрите, что-нибудь у них должно быть.

— Борис Константинович, — сказал я, — еще раз прошу прощения, что доставил вам столько хлопот...

— Перестаньте,— профессор досадливо махнул рукой,— что-то я не замечал раньше у вас особой деликатности.

— Только ради научной истины. В присутствии истины я буквально стервенею.

— Ну, ну,— пробормотал профессор без улыбки. По-видимому, особой симпатией ко мне он так и не проникся.

Уснул я буквально через несколько минут после того, как улегся на уже знакомое мне ложе. Помимо всего прочего, я здорово устал за эти дни. Последнее, что я услышал, были слова Бориса Константиновича: «Как спит!» Это обо мне, подумал я, и мысль растворилась.

И пришел сон, посланный мне У. И я снова летал. Но не так, как раньше.

О, это был совсем другой полет! У стоял на каменистой площадке. Вдруг ощущение своего веса исчезло.

Он стал невесом, и легкий ветерок, тянувший с залитого солнцем холма или низенькой горы, раскачивал его, как травинку. Он оттолкнулся ногой и начал подниматься прямо вверх, как ныряльщик подымается к поверхности воды, как подымается воздушный шар.

Чувство легкости, свободы. У слегка наклонился в сторону, и горизонт послушно встал дыбом. Мы парили в золотисто-желтом небе, все подымаясь выше и выше, и я слышал мелодию холмов.

А потом У скользнул вниз. Быстрее и быстрее. Свист воздуха вплелся в мелодию. Страха не было. Было веселое, озорное чувство всевластия над стихиями. Над янтарными холмами внизу, над желтоватым небом с длинными, стрелоподобными облаками. Над силой тяжести, которая сейчас тянула нас вниз и которая была вовсе не чужой и злобной, а ручной и доброй, как собака. У самой земли падение прекратилось, и мы снова поднялись вверх. Скатывались по крутым невидимым горкам неведомых силовых полей.

И встретили в небе еще одного. Его имя было Эо. А может быть, его имя звучало вовсе не так, но он остался в моей памяти как Эо. И мы играли в небе, как птицы, как играли бы щенки, умей они летать.

И вдруг мы оба скользнули на землю. Нас позвали. Коа столкнулся с неполадками на энергетической станции, в которых он не мог разобраться.

И на помощь ему мысленно спешили братья. Сначала те, кто был ближе других и кто был не слишком занят, потому что это был Малый Зов. И те, кто был ближе других к Коа, включались в его мозг. Их мозг и его мозг становились единым целым, работавшим в одном ритме.

Нам не нужно было объяснять, что случилось на станции, на которой был Коа.

Мы знали все, что знал он. Мы были частью его, а он был нами. Но задача была сложна.

Я не могу сказать, в чем она состояла, ибо мозг мой не смог усвоить технических образов, циркулировавших в кольце Малого Зова.

Они были слишком сложны и незнакомы мне.

И все новые братья вплавлялись в общий мозг, росший в кольце Малого Зова. И самосознание наше все расширялось и расширялось, пока не стало похоже на громадный, безбрежный храм, в котором тысячекратным эхом билась, сплеталась и расплеталась наша общая мысль. И эхо вибрировало от нашей общей мощи. И мы поняли, что случилось с машинами Коа и что нужно сделать, чтобы избежать аварии. Никто не мог бы сказать, что это понял он. Только мы, ибо внутри кольца Малого Зова не было меня, тебя, его. Были только мы.

И как только задача была решена, кольцо распалось, и У снова стал У — существом, протянувшим мне лучик сновидений сквозь бесконечную тьму космического пространства.

И я начал понимать, почему на Янтарной планете всегда сияет радостный отблеск...

— Когда, вы говорите, начался вчера первый цикл? — услышал я, просыпаясь, голос профессора.

— Быстрого сна? — переспросила Нина.— Сейчас посмотрим. Вот. В двенадцать сорок.

— Сегодня?

— В двенадцать сорок.

— Значит, совпадение полное?

— Нет, Борис Константинович. Вчера было десять периодов быстрого сна, а сегодня одиннадцать.

— И этот дополнительный?

— Тоже пятиминутный.

— А интервалы?

— Надо замерить. Сейчас я займусь.

Я встал.

— Вы что, всю ночь бодрствовали надо мной? — спросил я.

— Нет,— сухо ответил профессор.— Я ездил домой.

— Боже, и все это из-за одного человека...

— Вы здесь ни при чем,— неприязненно сказал Борис Константинович.

— Интервалы такие же, как и в прошлый раз,— сообщила Нина.— Совпадение полное. Дополнительный одиннадцатый цикл приходится на интервал между пятым и шестым периодами быстрого сна.

Профессор посмотрел на ленту.

— Действительно, сами интервалы все время увеличиваются. Смотрите, последний интервал раз в тридцать — сорок больше первого. Нелепость какая-то...

— А что, если составить график по времени быстрых снов и интервалов?

— Конечно, Нина Сергеевна. Не надо будет по крайней мере перематывать каждый раз этот рулон...

Я был здесь больше не нужен. Подопытный кролик сделал свое дело, подопытный кролик может уйти. Жаловаться не приходилось. Спасибо им и за это.

(Окончание следует).

«Вы когда-нибудь думали о капитальной складке русского революционера? Знаете ли, была она, эта рельефная черта нравственного облика — со-стра-дание... Жгучее и непреходящее сострадание. И не мечтательное, а деятельное...»

Мы благодарны писателю, с любовью и талантом воскресившему для нас подвиг деятельного сострадания, чистый и светлый нравственный облик Александра Михайлова.

Сергей ЛЬВОВ

ЗА СТОЛОМ И НА СЦЕНЕ

«Вновь от стола до сцены, от сцены до стола...»

Так Владимир Рецептер формулирует двойственность (или цельность?) своей судьбы, что в переводе на язык деловой прозы означает: автор этой, уже второй книги лирики («Опять пришла пора...») — актер.

Но существует и такой вопрос: отчего актеру Рецептеру необходимо проделывать обратный путь — «от сцены до стола»?

Рецептер играл (в Ташкенте и в Ленинграде, на сцене, в кино и на телевидении) Раскольникова и Гамлета, Чацкого и его автора Грибоедова, Петра в «Мещанах» и Эраста в «Бедной Лизе». Он работает в великолепном «товстоноговском» театре, но создал и свой театр одного актера, где ставил Шекспира, Пушкина и Достоевского. К тому же он, как и подобает выпускнику двух вузов, театрального и филологического, — автор литературоведческих работ о Пушкине (интересных) и о Шекспире (по-моему, уже просто интереснейших). Это печаталось в журналах, а недавно — и частично — было объединено в небольшой книжке «Литература и театр», изданной в Ленинграде.

Короче говоря, к лирике его толкает не просто недосказанность чего-то на сцене (хотя у какого актера нет этого ощущения?), но именно те позывы души, которые иначе как поэзией, лирикой не удовлетворишь.

Конечно, книга отмечена и подробностями именно актерской судьбы, подмостков и кулис... И ряд стихов об этом мне нравится: «Актер уходит из актеров», «Летать, испытывать судьбу», «Репетируя Грибоедова», особенно — «Памяти моего деда» (провинциального трагика).

Обаятельны и некоторые стихи из цикла «Театр «Глобус». Предположения о Шекспире». Сама откровенность их литературности подкупает, как всякая откровенность. К тому же за ними — добросовестность шекспировских штудий Рецептера.

Я бы покривил душой, если бы сказал, что все в стихах В. Рецептера мне нравится. Я говорю о лучшем. А лучшее все-таки не стихи, как бы высвеченные театральными юпитерами, а стихи о «простых вещах». О переезде на новую квартиру. О дачном пейзаже. О жене. О сыне. О коротком южном отпуске. О домашних чтениях вслух. О смерти щенка... А что вы думаете, это трагедия — терять близкое, пусть бессловесное существо... Лирический герой этих и подобных им стихов Рецептера — человек, наконец-то оставшийся наедине с собой (у стола, а не на сцене) и вдруг остро почувствовавший, что он не один и одним быть не может: так сладостна взаимосвязь со всем живым и так необходима взаимоответственность, то счастье и та тяжесть, без которых — нельзя.

Ст. РАССАДИН

ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ОПЕРЕТТЫ

Удивительный это жанр — оперетта! К ней тянутся одни, ее начисто отвергают другие. Ей посвящают жизнь блистательные актеры и композиторы, но не менее блистательно пародируют «пошлость» и «примитивность» жанра другие художники... Например, Юлиан Тувим оставил нам беспощаднейшие страницы антиопереточной сатиры. Недаром старейший мастер советской оперетты Ярон любил повторять, что тот, кто прикасается к оперетте, становится либо ее защитником, либо ниспровергателем.

Вот почему любители этого солнечного жанра с долгожданной радостью встретили новую книгу А. Владимирской «Звездные часы оперетты» («Искусство», 1975).

Эта книга об особенностях исторического пути, о тайнах и загадках жанра, о звездных часах, которые наступали для оперетты, когда в ее жизнь входил крупный талант, отдавал ей свой труд, вдохновение, свой мир мелодий и красок. Это книга о насмешливом Эрве и ядовитом Оффенбахе, о романтике Штраусе и легкокрылом Легаре, о драматическом мастерстве Кальмана и светлом таланте Дунаевского...

Вот Оффенбах, создатель особого жанра оперетты — политической сатиры. Когда состоялась премьера его «Прекрасной Елены», заглавную роль исполнила самая популярная артистка оффенбаховской поры — Гортензия Шнейдер. Она появилась на сцене загримированная под жену правящего тогда Наполеона III, «маленького Наполеона». Но когда на сцену вышел еще и артист Куи, играющий Менелая, зрители разразились криками, свистом и смехом. Менелай как две капли воды был похож на Наполеона III.

Много страниц уделено в книге А. Владимирской и другой школе оперетты — венской танцевальной и ее создателю — блестящему Иоганну Штраусу. Книга познакомит читателей и с «легариадами» — удивительными созданиями композитора Ференца Легара, похожими и на оперу и на оперетту; со сложной судьбой Имре Кальмана...

Разговор о советской оперетте начинается с имени ее создателя — Исаака Осиповича Дунаевского. «Музыка происходит от жизни»,— любил говорить он и искренне, задорно и мужественно воспевал новую действительность, ее романтику. Композитор, навсегда посвятивший себя юности, не знал покоя. Даже смерть застала его во время работы. На рояле остался неоконченный номер «Белой акации»,— «Весеннее интермеццо».

Но наиболее волнующие страницы относятся, пожалуй, к другому времени, казалось бы, чуждому самому этому счастливому жанру... Ленинград. Блокада. Над Эрмитажем, прямо над головой атлантов разорвался снаряд... И все-таки в городе работал театр. Театр музыкальной комедии...

Конечно, очерк не исследование. О многом автору пришлось говорить вскользь, но удалось самое главное — рассказать «о любимом жанре» ярко, захватывающе, увлекательно.

Е. КОРОВИНА

СЛУЖБА СОВЕСТИ

Инспектору Денисову, герою повести Л. Словина «Астраханский вокзал» («Молодая гвардия», 1975), нужно огромное терпение. В недавно застроенном тысячами квадратных метров жилой площади, равном по количеству населения Костроме или Вологде, микрорайоне Деганово он ищет человека, одетого в морскую форму, не будучи уверенным в том, что это тот, кто ему нужен. Легче, кажется, найти иголку в сене. Порой, отчаявшись, он сомневается, надо ли ему следовать своей интуитивной догадке. И все же одного за другим расспрашивает людей и обходит квартиру за квартирой, пока не нападает на след. Денисов обладает даром отыскивать истину. Даже современная техника не устояла против его пытливого ума, и он разгадал способ, каким некто Маевский узнает шифры в автоматических камерах хранения. Размышляя о различных типах работников, участвующих в общей системе розыска, полковник Холодилин вспоминает и о встреченных им единицах, подобных Денисову: «Они смотрели на улики под каким-то своим, совершенно неожиданным углом зрения и поэтому замечали то, что упускали другие». Так, в рамках розыска решается вопрос о месте одаренной личности в любой работе.

Людей различных характеров, умственных способностей, уровней культуры, участвующих в поимке преступников, объединил подвиг служения совести. «Совесть не может исчезнуть на время и появиться снова»,— говорит один из героев «Астраханского вокзала».

Заместитель начальника уголовного розыска на станции Москва-Павелецкая майор Л. С. Словин вложил в собранные в книге рассказы и повесть свой трудовой опыт, размышления и впечатления о своем труде и товарищах. Он принес читателю и свою любовь к вокзалам, на фоне которых протекает его трудовая жизнь, к заполняющему их людскому потоку, и свою этическую непримиримость, столь необходимую не только тем, кто стоит на страже закона, но и всем другим.

М. ЛЕПАНОВА

Наталья ЗАЛКА

О МОЕМ ОТЦЕ

В *связи ,с исполняющимся 23 апреля с. г. 80-летием со дня рождения писателя-интернационалиста Матэ Залки, сражавшегося и погибшего в Испании в 1937 году под именем генерала Лукача, наш корреспондент встретился с его дочерью Натальей Матвеевной Залка и попросил ее рассказать об отце.*

Корреспондент. Биография, книги и ратные дела вашего отца достаточно широко известны. Нам бы хотелось, чтобы вы рассказали нашим читателям о нем как о человеке, об отце, о том, каким он был в семье. Расскажите какие-то конкретные вещи, например, сказал ли он вам, что уезжает в Испанию?

Наталья Залка. Да. Он нам сказал об этом. При тех отношениях, которые сложились у нас в семье, искренних и откровенных, он не мог этого не сделать. Хотя тогда это считалось государственной тайной. Но ведь и Юрий Гагарин посвятил свою жену Валю в тайну предстоящего полета. Все зависит от отношений. Отец не мог оскорбить нас недоверием. Да к тому же он был уверен, что мы сумеем сохранить все в секрете.

Корреспондент. Как вы встретили это сообщение?

Н. З. Мама рассказывала, что после слов отца: «Я еду в Испанию» — я сперва остолбенела, а потом воскликнула нечто вроде: «Молодец, папка, бей фашистов!»

Возглас этот был вполне в духе времени и по своему внутреннему порыву — ведь все тогда очень близко к сердцу принимали события в Испании — и по лексикону тоже!..

Правда, этих слов я не помню. Я помню, что у меня внутри все как-то похолодело и замерло. Помню побледневшее лицо отца и его прямой внимательный взгляд. Он хотел увидеть поддержку своего решения. Может быть, поэтому я и выкрикнула свой «лозунг». Помню, мама тоже сказала что-то одобрительное. Но с этого момента страх вошел в нашу жизнь.

Все дни, оставшиеся до его отъезда, я не отходила от отца ни на минуту. Мы вместе ходили по делам: в издательство, в Союз писателей, на вечер, посвященный женщинам и детям героической Испании. Запечатлелось в памяти, как в Доме ученых отец выступал с трибуны, а я сидела в зале и думала про себя: «Никто не знает, что он едет «туда», только я знаю! Такая тайна мне доверена!» Сознание сопричастности наполняло меня гордостью.

Прощались мы с отцом у порога дома. И, как он просил, улыбались изо всех сил, пока не закрылась за ним дверь.

Корреспондент. Сохранились ли у вас письма отца испанского периода?

Н. З. Конечно. Все сохранилось. И даже те письма, которые мы писали ему в Испанию. Они вернулись в Москву вместе с его вещами. Их привез Алексей Эйснер.

Вы спросили меня об отце: каким он был человеком, каким он был отцом? Я думаю, что на это лучше всего ответят его письма, наша с ним переписка. Он писал нам часто. Даже по пути в Испанию он послал нам шесть писем. В последнем письме с советской земли — из Ленинграда — он писал:

«Я еду не на новые экзамены. Я должен повторить пройденное уже раз. У меня нет беспокойства «пе-

На левом снимке: Матэ Залка с дочерью. 1925 г.
Вверху: М. Залка-Лукач (крайний слева) на митинге 12-й Интербригады. Испания. 1937 г.

ред неизвестным». Я еду с большой уверенностью в том, что буду полезным, и это делает меня порой гордым, и от этого тепло, крепко, боевое настроение на душе. Но вы — родные — «мой тыл». Я хочу, чтобы в тылу моего сознания было все «отлично», и тогда я сумею сосредоточиться, сумею повести порученное мне почетное дело по-настоящему. Поэтому, мои чудные, славные крошечки, я так вам благодарен за улыбки во время прощания. Итак, до скорого, счастливого свидания. Я всей душой с вами, светлые мои, родные мои. Ваш, только ваш. М.».

В январе 1937 года от отца пришло большое и очень интересное письмо, датированное 27 декабря, в котором он подробно описывает свои первые впечатления от Испании, рассказывает о товарищах-интернационалистах, о тяжелых боях и многих трудностях, с которыми он столкнулся. Это письмо потрясло нас своей откровенностью. Мы боялись, что подобные письма могут попасть в чужие руки. И я передала отцу через Раису Азарх, которая тогда уезжала в Испанию, напоминание о том, чтобы он был осторожнее, берег себя и... не нарушал конспирацию.

Вот как он ответил на мои «назидания».

«Все твои указания принимаю к исполнению», а дальше — уже серьезно: *«...Радостное весеннее солнце кажется большим противоречием рядом с тем, что делается вокруг. Но эти разрывы, эти пулеметные очереди...— историческая необходимость, чтобы вновь родилась страна Сервантеса. Последние иллюзии великих донкихотов рассеиваются в этих разрывах... Вот почему твой отец здесь. Надо друзьям помочь опытом и решительностью, как бы это дорого ни стоило мне лично и всем нам...»*

Переписка наша шла по двум каналам. По одному — официальному, прямому, и другому — тайному, конспиративному. И когда я теперь перечитываю эти зашифрованные письма, то чувствую, что конспирация доставляла мне даже некоторое удовольствие. Вот образец такого письма:

«Милый, дорогой друг! Вот и зима кончается, а мы все скучаем, тоскуем, живем теми известиями, которые удается узнать о вас. А они приходят очень редко. Настоящие праздники были у нас в доме в те дни, когда нам удавалось слышать ваш голос[1]. Если б вы могли нас еще так порадовать! Я учусь и стараюсь делать все так, чтобы это могло вам понравиться, вас обрадовать, когда наконец настанут желанные дни и мы снова увидим вас среди нас. Ваша Т.».

Корреспондент. Разные люди — Хемингуэй, Эренбург, Кольцов, генерал Батов, О. Савич, адъютант Матэ Залки, писатель Алексей Эйснер — отмечали редкий сплав качеств вашего отца: отчаянное мужество, верность долгу и... чрезвычайную мягкость, доброту к людям. Письма, многие из которых были потом опубликованы, рисуют Залку—человека, героя, мудрого военачальника и гражданина. Но нигде так полно не раскрывается сердце человека, как в письмах к родным, не правда ли? И «интимные» нотки в его письмах, наверное, тоже говорят многое о нем как о личности...

Н. З. Отец привык с нами делиться всем. И он — человек, который для многих был примером стойко-

---

[1] Имеется в виду звонок Лукача из Мадрида, организованный Михаилом Кольцовым по каналу «Правды».

Штаб 12-й Интербригады. Крайний справа — М. Залка-Лукач. Испания. 1937 г.

сти и мужества,— не боялся перед своими близкими показаться слабым.

7 марта 1937 года (письмо адресовано моей матери):

«Дорогая Верочка!

Я сегодня болен. Очевидно, грипп. Голова трещит, и свет не мил. Ты же знаешь, что я не умею болеть.

...Я собой недоволен. Работаю, как вол, но с людьми не умею себя поставить. Проклятая интеллигентщина давит. ...Скучно несказанно. В последнее время от вас нет писем. Почта — дура. Как всякая машина, работает без души, не учитывая человеческие чувства и подобные мелочи.

...Привет всем друзьям. Если такие вообще водятся еще!

Целую от всей души. М.».

30 апреля 1937 года:

«Дорогая Верочка!

Пользуюсь случаем послать тебе письмо без всяких посторонних свидетелей.

...Многое мне хочется тебе написать.

Во-первых, признаюсь тебе, моя родная, что я до тупости, до одеревенения устал. Устал до боли, а главное, не вижу конца этому делу, которое, надо признать, приносит множество огорчений. Главная причина огорчений в том, что я и мои друзья чувствуем нашу изолированность и одиночество...

Зачем я это пишу тебе? Ведь ты не можешь мне ничем помочь, разве только тем, что выслушаешь мой крик! Но это ведь тоже хорошо! Ладно, ладно, не буду ныть! Это не похоже на меня. Это так... вырвалось — пройдет!»

Письмо от 24 апреля 1937 года—тотчас после его дня рождения:

«Дорогие! Надеюсь, вы, как пообещали, вчера вечером собрались и за мое здоровье выпили бокальчик шипучего вина[1]*. Я весь день 23-го был тих и чуть-чуть мрачен. Думал о судьбе, о превратностях жизни, о прошедших годах и остался собой недоволен. Мало сделано, мало успел, мало достигнуто.*

День этот у нас был удивительно тихим. В промежутках, когда людские шумы утихали, среди весенних кустов птичье пение делалось совершенно нестерпимым по своей вечной контрастности. Но все это ничего, когда ты знаешь, что те, которые тебе самые милые, живут вдали от бури, грозные рывки которой шумят-звенят над твоей головой. На душе становится легко, и хотя в жизни мало достигнуто, но все же хорошо. Хорошо на душе, тихо.

...Не хочется шума! Шума и так много бывает.

...Будем жить и побеждать! Ваш Матэ».

По поводу этих писем отца Эренбург писал:

«Не знаю, чего больше в таких признаниях — честности или мудрости».

А у меня по молодости лет мудрости не хватало. Я хотела видеть отца только сильным. И 21 мая 1937 года послала ему такое письмо:

«Папочка, милый! Что с тобой? В твоих письмах столько грусти и даже больше — отчаяния. Чувствуется, что ты нездоров, ужасно устал и чем-то сильно огорчен. Родной наш, папулечек, соберись с силами, уже немного осталось. Твоя работа не пропала даром ни там, ни здесь, и ты это почувствуешь. А мы тебя так любим, так ценим. Приезжай только, и все пойдет по-хорошему, по-старому и еще лучше прежнего. Не грусти, папуся, береги себя, не болей. О нас не беспокойся — мы живем по-прежнему и только с каждым днем все сильнее скучаем по тебе. Но ничего, лишь бы все хорошо кончилось».

В этом же письме я советовалась с отцом о выборе профессии. Летом я оканчивала десятилетку и должна была поступать в вуз. Мне очень не хватало присутствия отца, моего главного советчика. Поэтому вопрос этот занимал большое место в нашей переписке:

«Насчет вуза еще колеблюсь. Ничего определенного не выбрала. Уж думаю, не пропустить ли год, подождать тебя — мы с тобой вместе выберем. А пока заняться языками, самообразованием. Напиши, папуля, что ты по этому поводу думаешь.

Твоя Тала».

В другом письме я сообщала отцу, что подумываю о кинорежиссуре.

Вот ответ отца:

«...Может быть, тебе, Талуня, больше подойдет язык и литература? Благородное и великое дело. В нашей стране с этими знаниями ты найдешь всег-

да свое место и будешь жизнью своей удовлетворена. Ты знаешь, что моя мечта, чтобы ты была счастлива. Мечта эта вполне осуществима. Ключ — это действительно удовлетворение в жизни через любимый труд.

Впрочем, я ни на чем не настаиваю. Времени у тебя еще хватит! Можно и на ходу менять (хотя это по-военному самое опасное и нерекомендуемое!).

Пиши мне, моя умница...»

Корреспондент. Когда-то Хемингуэй так сказал Эренбургу о Лукаче: «Я не знаю, какой он писатель, но я его слушаю, гляжу на него и все время улыбаюсь. Замечательный человек!» Человечность была основой его натуры. Победитель ряда крупнейших сражений под Харамой, Гвадалахарой, Мадридом, а до этого — герой гражданской войны, один из первых награжденных орденом Боевого Красного Знамени, золотым оружием, Залка-Лукач, по словам М. Кольцова, никогда не мог «привыкнуть к гибели людей». Обняв старую испанку, плачущую над телом сына, он сказал А. Эйснеру: «Видите, какая подлость — война?.. Вот потому-то я всю жизнь и воюю!»

Интернационалист, гуманист, ваш отец был прообразом нового человека, личности цельной, способной чувствовать боль мира и боль человека, готовой принести себя в жертву ради грядущей радости человечества... Эта ниточка гуманизма и благородства не должна прерваться...

Н. З. Теперь, когда прошло много лет, и я ращу уже своих детей, и есть у меня даже внук, я часто мысленно возвращаюсь к советам отца, к его мудрым мыслям и поступкам. И хоть время теперь другое и дети другие, доброта, доверие и уважение, которые были основой его родительской педагогики, остаются, как мне кажется, непреходящими ценностями.

Матэ ЗАЛКА

ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ...

НОВЕЛЛА

Я был заласканным маменькиным сынком, с тех пор как помню себя.

Мать у меня была строгая, но с золотым сердцем. Она окружила меня ревнивой любовью одинокой непонятой женщины, а я с детским эгоизмом нежился в плену материнской любви.

Отец был веселый коренастый человек. Он больше шатался по свету на своих любимых паровозах, чем бывал дома. С его отвислых густых усов струились юмор и смех, а в глазах был ясный свет много видевшего на своем веку человека.

Он приносил на своей одежде чужие запахи и далекие ветры в тихие комнаты нашего маленького домика на Зеленой улице. Эти запахи волнуют меня до сих пор.

Видел я отца очень редко. Но ждал его всегда. Каждый его приезд был для меня праздником. Его подарки я складывал в угол и молча любовался ими, почти не прикасаясь к ним руками.

Громкий голос, широкие жесты и раскатистый смех отца каждый раз наполняли меня смятением.

Отец приезжал и уезжал. А после его отъезда, как струна, тронутая смычком, долго звенело минорными нотками мое детское сердце.

Я рано пристрастился к книгам. Друзей у меня почти не было. Иногда какой-нибудь мальчик пытался подружиться со мной, но, побывав у нас однажды, больше уже не приходил. Тишина и строгость нашего дома, безмолвная ревность моей матери отпугивали моих сверстников. Я стал домоседом.

Мать была моим единственным другом. Она приучила меня рассказывать ей все, поверять ей мысли, планы, настроения. В такие минуты мы усаживались друг против друга на табуретке у огня, и я видел, как прояснялось ее лицо, как освобождалось оно от горечи повседневной жизни.

Я очень любил свою мать. И отца, хотя он был совсем другим, тоже любил.

Вдоль Зеленой улицы тянулась высокая железнодорожная насыпь. По ней грохотал чугунный конь моего отца и, приближаясь, весело ревел над нашим домом.

Нарастающий и убывающий грохот поездов, лязг буферов, свистки маневрирующих составов были привычной музыкой моего детства. Когда я смотрел на красные огни уходящих в ночь поездов, мне казалось, что это сигналы иной жизни, которые зовут и манят меня куда-то.

В конце Зеленой улицы раскинулась вымощенная булыжником вокзальная площадь, к ней жался затоптанный парк из вялых акаций и сухих тополей. Рядом был маленький крикливый базарчик и всегда влажная, остро пахнущая стоянка извозчиков. Это были конечные пункты моих детских экскурсий, дальше которых я не смел заходить.

Сад наш был обнесен большим забором, но крепче всякого забора отгораживала меня от жизни судорожная любовь моей матери.

Так проходили мои детские школьные годы.

Я был еще совсем мальчиком, когда по насыпи

Архив семьи писателя. Публикуется впервые.

вдоль Зеленой улицы начали ходить воинские поезда. Мы с матерью часто смотрели им вслед.

Отец в то время стал бывать дома чаще обычного. Но он уже не походил на веселого героя сказки. Юмор сменился горечью, взгляд сделался сосредоточенным и жестким.

То и дело к нам приходили незнакомые люди. Говорили вполголоса, проклинали войну. Как-то я слышал, как один из них тихо сказал отцу:

«Кто знает, товарищ Степан, может быть, эта война ускорит ход событий».

Отец потом часто повторял эти слова. Мать только тихо вздыхала. А поезда все шли и шли... И теперь уже обратным рейсом, все назад и назад.

Со станции часто доносилась стрельба, слышались непонятные крики.

В школу я почти не ходил. Господина директора уволили и назначили другого. Губернский инспектор в золотом пенсне больше не приезжал.

Я часто замечал, что отец приносил какие-то бумаги то в ведерке для машинного масла, то в корзине с провизией, то в своем сундучке.

Однажды ночью я увидел, как в нашем саду его товарищи выкопали глубокую яму. Они опустили в нее ящик, набитый винтовками и патронами. Потом эту яму закопали.

Теперь мама вздыхала и тогда, когда провожала отца, и тогда, когда его встречала.

Нашу станцию заняли немцы. Кругом гремела революция, а у нас был «большой, большой порядок». Вокзальную площадь каждый день поливали и тщательно подметали. В школу мы ходили каждый день, учились то по-украински, то по-русски, а немецкий язык был обязательным. В парке по вечерам играл немецкий духовой оркестр.

Как-то ночью за нашим садом остановился паровоз: приехал отец. С ним было еще четверо. Они прошли тихонько, через сад. Выкопали ящик и втащили его на насыпь. Я помогал. Мама плакала...

Отец исчез, как дым.

Наутро немцы перевернули все в доме, искали отца. Нашли след ящика, ругались и так ударили в бок нашу собачку, что она, визжа, перевернулась в воздухе три раза.

Мама судорожно прижимала меня к груди. Мне было неловко. Неловко потому, что был я уже длинным парнем и многие из тех мальчиков, с которыми я ходил в школу, нашли в жизни свою дорогу. Некоторые из них сидели за конторками, а были и такие, которые, надев шашки, ушли к гайдамакам или к красным партизанам. Наш сосед — мальчик, работавший в привокзальном буфете, всегда завидовавший моим книгам и моей учености — Коля Островский,— ушел пулеметчиком к красному партизану Щорсу на Лесную Унечь [1].

Потом о моем отце пошли слухи, что он водит бронепоезд, что громит гайдамаков и что немцы боятся его как огня.

А я все сох над книгами. Мне было четырнадцать лет. Я был длинным узкогрудым парнем, у которого от материнской заботливости бывали мигрени и вечно стреляло в боку.

Осенью немцы дрогнули. Шли они беспорядочно, мутным, серым потоком. Бежали домой. Над ними завывали ранние вьюги, первый снег заметал их следы.

И вдруг наступила тишина. Замерла даже наша станция. Потом раздалось грохотание пушек за лесом: там шел бой. Я вскарабкался на обледенелую насыпь. Пули ударяли по рельсам и, описывая дуги, пролетали над моей головой.

Нашу станцию занял красный полк. Зеленая улица заполнилась солдатами — банты на груди, на папахах, красные полотнища над станцией. Но пушки стояли рядом — гайдамаки напирали со всех сторон, и вокруг станции рвались шрапнели. Партизаны с лесней пошли в бой. Гайдамаки отступили. Но все знали, что это ненадолго.

А в парке собрался митинг. Красноармейцы, железнодорожники, мешочники, крестьяне с корзинками окружили кольцом трибуну, на которой прошлым летом немецкий капельмейстер размахивал своей серебряной палочкой. На трибуне стоял высокий солдат в козьей шубе и барашковой папахе. Ветер распахивал полы его шубы и обнажал серебряный убор его шашки, деревянную кобуру маузера и высокие голенища сапог. Когда он заговорил, ветер словно утих.

Такого красавца я не видел никогда в жизни! Голос его был высок и чист, как блеск сабли. Слушая его, я закрыл глаза. Слова комиссара летели ко мне, как голуби, они садились на мои плечи, голову, грудь, они летали у моего лица и задевали крыльями мои глаза. Он говорил о борьбе, о том, что красный полк должен сейчас отступить. Он это сказал улыбаясь, а мне хотелось плакать. Я глотал слезы. Потом он закричал:

— Тысячи лет лучшие люди человечества мечтали о том, что сейчас происходит. Настал желанный час! И честь и слава будет тому поколению, которое поймет могучие слова времени!

Я почувствовал ту радость, которая охватывает человека, когда сказка превращается в быль. Я открыл глаза. Оратор своим ясным голубым взглядом обласкал мое лицо.

Вдруг красноармеец, стоявший рядом со мной, весь затрясся и закричал:

— Ура! Ур-ра!

И я тоже закричал. Из моей груди, ломая детский фальцет, вырвался первый мужской бас:

— Ура-а! Ура-а-а!

Митинг расходился. Я сорвался вдогонку ветру. Домой!

На солнечной стороне улицы звонко падали с крыш сосульки. А на теневой — свистел ледяной ветер.

Мать возилась на кухне. Я шмыгнул в сарай, просунул руку между стропилами и крышей и вытащил завернутый в тряпку немецкий револьвер, который нашел еще в прошлом году под насыпью. Его магазин был плотно набит патронами. Я защелкнул на поясе пряжку с германскими орлами. Зашел было в комнату, чтобы проститься с матерью, но мой взгляд случайно упал на стопку книг, и я безмолвно вышел на крыльцо. Сзади раздался голос матери, но я не остановился, с силой натянул шапку до бровей и заскрежетал зубами.

— Вперед! — сказал я громко, будто командовал полком. И повернул в сад. Паровозы ревели на насыпи. Поезда шли шагом. Мать вышла на крыльцо и удивленно закричала мне вслед, но я сердито хлопнул калиткой и взбежал на насыпь. Недалеко за станцией трещали пулеметы, из леса двигались цепи черных точек. Одинокий голос матери потерялся в скрежете колес. Кто-то протянул мне сильные руки, и я рывком влетел в уже идущий полным ходом вагон.

1935 год.

[1] Большая дружба связывала М. Залку и Н. Островского. В романе «Рожденные бурей» Н. Островский вывел Матэ в образе венгерского революционера. Залка вводит образ друга в новеллу «Однажды зимой...».

Иногда в «карнавальных» композициях Т. Назаренко встречается обыгрывание (смешанное с грустным удивлением) парадоксальности многих явлений современной жизни, «неизбежностей странного мира». Есть и образные повороты, которые служат громкому и резкому осмеянию мещанских представлений о красоте и счастье (особенно в «Воскресном дне»).

Однако самое близкое и дорогое сердцу художницы — душевное приволье, бурное и искрометное веселье народного празднества. Именно такими чувствами полна композиция «Проводы зимы», покоряющая своим чистосердечием и тем удивительным чувством душевной раскованности, неомраченной внутренней свободы, которая служит основой и первоначалом всякого доброго и светлого народного праздника.

Игорь Орлов с первых лет самостоятельной работы также был связан с фольклором, но несколько по-особому: он занимался с самодеятельными художниками, учил их и сам у них учился. В этой среде молодой живописец обрел драгоценное, нередко заглушаемое профессиональностью, качество: умение видеть и чувствовать окружающую жизнь свежо и удивленно, как бы впервые. Это извечно присущее народным художникам свойство мировосприятия подсказало Орлову тематический круг первых его картин. В них он показывает странность обычного, неожиданную значительность самых рядовых деталей повседневной обстановки. Такое ощущение появляется, если призадуматься над сложностью и завершенностью конструкции, пластики, цвета окружающего нас мира вещей, их поразительной «разумностью» — мы же, как слепые, нередко не замечаем этого!

В картинах Орлова цветок может запросто оказаться величиной с дерево, трава на лугу представиться заколыхавшимся лесом и т. д. Масштабы предметов тут определяются прежде всего по степени их эмоционального воздействия. С другой стороны, при случае художник способен уложить весь мир на ладони. У народно-поэтической образности своя геометрия. К примеру, в картине «Ласточки» пределы одного полотна вмещают множество пейзажей и сцен повседневности, которые в целом образуют зрелище цветущего, плодоносящего и очень разноликого мира — лона жизни людской.

В ранних натюрмортах И. Орлова господствует культ резко очерченных, строгих и холодно-ясных деталей: автор стремился все свести к простейшим основам, к четким формулам, к предметам-символам, которые на обнаженных сценических подмостках разыгрывают спектакль весомых и неопровержимых истин бытия.

В недавнюю пору Орлова увлек иной поворот сценического круга. «Купальщица», «Вечер», «Ночной бульвар» — это мерцающие тысячью оттенков цветные миражи, в которых тают и расплываются отдельные предметы, пространство насыщено рефлексами цвета, строится ими. И тут совершенно очевидна условная романтика праздничного ощущения жизни. Только здесь «карнавальность» не в действии выражена, а в экспрессии колорита и пластики, тесно связанной с декоративно-орнаментальной традицией народного искусства. Словом, пьеса та же, только режиссерская трактовка иная...

Владислава Рожнева эта выставка, в сущности, открыла. Знали, правда, его «Красную площадь» 1971 года, где великий историко-архитектурный ансамбль изображен с уважительным и наивным простодушием троицкой игрушки. Но теперь можно было увидеть все краски палитры художника.

У нее широкий спектр. Особенно примечательно и своеобразно у Рожнева — соединение народных традиций с изысканнейшим профессионализмом.

В самом деле. Некоторые жанровые картины живописца сделаны в духе лубка: портреты (в том числе свой собственный) он стилизует по образцу витрин и вывесок в русской провинции начала XX века. В небесах изображенной им Бухары плавает вывеска «Ремонт часов с гарантией»; под ней — затиснутые в тесные интерьеры-отсеки старинной восточной постройки мастерские ремесленников. Тут кузница, парикмахерская, еще что-то — и всюду течет обычная жизнь. Переводишь взгляд — как страницы листаешь. Это похоже на россыпи отдельных сценок в миниатюрах, на клейма по бокам икон, на сцены из представления народного театра — «райка».

Все эти сцены, однако, написаны тонкой, виртуозной кистью, которая и не думает как-то упрощать или затушевывать свой блистательный артистизм. Свободное и тактичное использование уроков искусства П. Кузнецова, П. Кончаловского, Р. Фалька, М. Ларионова, М. Шагала очевидно во многих работах художника. Как он добился прочного и естественного сплава этих уроков с народными традициями, его тайна. Но он в итоге создал собственный, глубоко личный стиль, который много добавляет к художественным возможностям «народно-зрелищной» школы нашей живописи.

И, наконец, Олег Лошаков. На выставке он был самым сдержанным и трезвым. В его картинах спокойный, пристальный взгляд на вещи, резкие контуры, почти локальные соотношения цвета. Кожура романтики тут содрана. Мужество и откровенность рассказа о жизни возведены в закон.

Правда, и Лошаков по-своему театрален. Только он не стремится к мечтательным фантазиям или к живописной непосредственности действия. Скажем, его строго-суровый «Шум моря», графически четкий, почти медальный, как бы вынесен за пределы обычного течения времени. Ожидающая женщина, которая сидит близ окна с приоткрытой занавеской, словно н а в с е г д а вписана в приморский пейзаж, стала его частью, мерцающим светом маяка; это живое воплощение мужества, готовности принять нелегкую судьбу, как бы она ни была трудна...

Пусть в ином варианте, но это также условно-обобщенная форма повествования о современности.

Все же больше всего на выставке запомнились отголоски и отблески великой стихии народных зрелищ с их дивным поэтическим богатством, прекрасной условностью сказки и ослепительной красочностью; с их неистощимой творческой импровизацией и проникновенно-мудрым осознанием и утверждением жизни.

Пусть люди искусства расскажут о себе, о своем творчестве...

Дорогая «Юность»! Нельзя ли, чтобы у тебя в журнале почаще выступали артисты, певцы, вообще деятели искусства, люди, которых знают и любят очень многие? И выступали бы они с письмами, адресованными нам, читателям. В этих письмах они могли бы рассказать о себе, о своих радостях и трудностях, о том, что их волнует в их творчестве, чего они достигли, чем недовольны. Ведь на сцене и по телевидению мы видим уже готовый результат их труда, а вся работа осталась «за кадром». К тому же, если песня нравится нам, это не значит, что она нравится исполнителю. Я, наверное, не очень четко выразил свою мысль, чо вы меня поймете. Если мое предложение покажется вам интересным, мне бы хотелось, чтобы на страницах «Юности» немного рассказала о себе София Ротару.

Владимир ПЕТРОВ

Москва.

СОФИЯ РОТАРУ: «ШЕСТЬ СКРИПОК И ЦИМБАЛЫ...»

Я родилась на Буковине, в молдавском селе Маршанцы. Наше село стелется по самому берегу Прута. Село небольшое, но очень красивое. Дома, как игрушки, украшены национальным орнаментом: цветы нарисованы на домах, птицы всякие. В окнах — разноцветные стекла. Мы, молдаване, любим, чтобы дом прежде всего красиво смотрелся снаружи.

Где-нибудь на гастролях я жду не дождусь того дня, когда приеду в свое село и выбегу босиком во двор — буду кормить кур и гусей, смотреть, как мама доит корову. У моих родителей полное хозяйство. Хороший сад. Я люблю рыбачить. Толик, мой муж, когда я впервые привезла его к нам в село, усомнился, что я умею ловить рыбу. Так я встала в четыре утра, сама накопала червей и принесла к завтраку сорок карасей.

У меня три сестры и два брата. И все любят музыку, любят петь. Да и отец, когда был помоложе, хорошо пел. И мама поет. У старшей сестры — она сейчас живет в Кишиневе — идеальный слух. Она как магнитофон. Один раз услышит песню и воспроизведет ее безошибочно. Помню, в детстве мы, сестры, сядем вечером около дома, старшая достанет свою тетрадь, где полным-полно песен, и поем до ночи — на все село.

И сейчас, когда мы все домой съезжаемся, я люблю петь на улице. Братья аккомпанируют мне, сестры подпевают, а младшая, Аурика, даже со мной соперничает. Аурика, похоже, пойдет по моим стопам.

У нас в селе принято, что после школы девушка выходит замуж и остается работать в колхозе. Но я с детства хотела учиться музыке, хотела быть певицей, и папа верил, что я стану певицей. После школы я поехала в наш областной центр Черновцы, но там в музыкальном училище не оказалось вокального факультета, и мне пришлось поступить на дирижерско-хоровой.

В шестьдесят восьмом году я окончила училище, меня послали с народным оркестром в Софию на Девятый Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На фестивале я участвовала в конкурсе народ-

ных песен — пела одну молдавскую, одну украинскую—и получила золотую медаль и первую премию.

А вернувшись в Черновцы, вышла замуж — Толя Евдокименко в ту пору оканчивал университет и готовился стать физиком,— а я начала преподавать в культпросветучилище теорию музыки и сольфеджио. Люди, которые занимались в этом училище, были вдвое старше меня. Я не знала, как буду учить их, и в первый день попросила Толю пойти со мной на занятия. Он стоял у дверей моего класса, чтобы мне было не так страшно.

Папа был ужасно недоволен, узнав, что я вышла замуж и преподаю в училище. Папа ждал, что я поступлю в консерваторию. Но Толя еще учился в Черновцах, а там нет консерватории. Папа немного успокоился, лишь убедившись, что Толя тоже любит музыку и хорошо играет на трубе.

Толя играл на трубе в университетском эстрадном оркестре и меня привел в этот оркестр, где я впервые стала петь эстрадные песни. В ту пору в Черновцах в медицинском институте учился Володя Ивасюк. Сейчас он стал известным композитором, а тогда только начинал писать песни. Но уже его первые песни были самобытны и очень колоритны — я имею в виду чисто национальный колорит. И украинская речь и музыка имеют особую окраску на Буковине, особое звучание.

В семьдесят первом году я исполнила песни Ивасюка в музыкальном фильме «Червона рута», который сделало Украинское телевидение. Две песни из этого фильма: «Водограй» и «Сизокрылый птах» — вскоре запела вся Украина, да и не только Украина. Любопытно, что «Сизокрылый птах» — это переделка на украинский лад итальянской песни «Бесконечность». Ивасюк сам написал к этой песне украинский текст. Я иногда пою ее в концертах на итальянском языке, но зрители думают, что это совсем другая песня, и шлют мне записки с просьбами спеть «Сизокрылого птаха».

После моего успеха в этом фильме мы с мужем окончательно решили создать ансамбль и профессионально работать на эстраде. Толя собрал хороших музыкантов, а с названием мы особенно не мудрили — назвали ансамбль «Червона рута». Толя и руководит ансамблем и выходит на сцену как трубач.

Я поработала на эстраде год, и меня послали в Болгарию на фестиваль «Золотой Орфей». Прилетела в Варну прямо из ФРГ, где работала весь май. Тот май был довольно холодным, я потеряла голос и была в отчаянии — тональность болгарской песни «Птицы», которую мне предстояло петь на фестивале, оказалась для меня слишком высокой. Пришлось срочно переделать оркестровку, а надо было еще репетировать...

Своим выступлением на «Золотом Орфее» я была не очень довольна, но, конечно, была рада, что мне присудили первую премию.

С тех пор моя судьба на эстраде на первый взгляд вроде бы складывается удачно. Но я не уверена, что мне уже удалось по-настоящему выразить в песне свое «я». Кто знает, может быть, я самообольщаюсь, и нет у меня такой индивидуальности, как у Мирей Матье, допустим, которую я могу слушать дни и ночи. Но все же мне бы хотелось надеяться, что свое слово на эстраде я еще не сказала, что я еще стану певицей, ни на кого не похожей.

А пока что мне надо найти в себе силы, чтобы хоть немного отстраниться от каждодневной спешки. Уже несколько лет я совершенно не принадлежу себе. Мечусь по разным городам с концерта на концерт, а когда хочу собраться с мыслями, спокойно подумать дома, что и как дальше петь, мне говорят: надо лететь туда-то, надо петь то-то... Я в слезы, но все знают, что Соня поплачет-поплачет и в конце концов согласится. Меня губит нетвердый характер...

Почему, скажите мне, вокруг такая спешка? Вот на «Мелодии» я пишусь на пластинку и за три часа должна записать пять песен. Потом слушаю: неужели это я? И дыхания нет того, и голос «узкий». Я же готова все бросить и записывать эти песни неделю, месяц. Неужели я рассуждаю наивно? Неужели уж я совсем не права?

А что в концерте получается? Спела, поклонилась — дальше. Опять спела, опять поклонилась... А песни-то разные: то была веселая, а теперь — драматическая. И я не успеваю даже перестроиться. А мне хотелось бы сначала говорить о песне, подвести к ней и себя и зрителя. Но вместо этого опустошающий темп: аплодисменты — дальше, аплодисменты — дальше...

Часто выхожу на сцену и чувствую: эту песню я могла бы сделать совсем по-другому. Но нет времени. Иную песню готовлю на гастролях и тут же выдаю.

Как-то постепенно, незаметно я стала жертвой собственного успеха. Осознав это, спохватилась, но изменить что-либо мне пока не удается. Неужели и теперь — после этого публичного признания — у меня не хватит характера сделать то, что я хочу сделать? На эстраде, как и вообще в искусстве, недопустимо стремиться к успеху, не сознавая, какой ценой тебе этот успех достается. Да и настоящий зритель быстро поймет, способна ли ты сказать что-то свое или просто эксплуатируешь данные тебе способности, приспосабливаясь к общепринятой моде, к стилю.

Что же я хочу сделать? Я уже рассказывала, что начинала как исполнительница народных песен. Сейчас я их не пою, но, приезжая домой в Черновцы, часами слушаю народные песни, романсы. Я мечтаю так построить свою программу, чтобы одно отделение целиком исполнять народные песни и романсы. В современной обработке, конечно,— нечто подобное тому, что делает Жанна Бичевская. Я бы хотела видоизменить облик нашего ансамбля. Взяла бы шесть скрипок и обязательно цимбалы. И чтоб гобой был и флейточка. А костюм менять не придется — у меня и сейчас все платья в народном стиле: в буковинском или в молдавском.

А в другом отделении я бы пела современные песни. Но только те, которые по-настоящему чувствую, в которых есть драматизм. Если петь, например, о любви, то мне ближе песни о грустной любви — такие, как «Сизокрылый птах».

Вот я все и рассказала — и чем живу и что люблю. То есть как все? У меня есть сын Руслан. В этом году ему исполнится шесть лет. Он очень музыкален и уже заказывает мне, какие ему привезти пластинки. Наш барабанщик подарил Руслану свои палки, и он с ними не расстается, а ночью даже кладет под подушку. Дома, в Черновцах, Руслан не пропускает ни одного моего концерта. Сидит себе тихонечко за кулисами на стуле и внимательно слушает. Руслан — мой самый лучший, самый непосредственный зритель. Когда он впервые услышал, как я пою «Балладу о матери», то после концерта спросил меня: «Мама, почему ты кричала: «Алексей! Алешенька! Сынок!..» Я же Руслан...»

Я чуть не заплакала.

Юрий Алехин

стихи

Юрию Алехину 29 лет. В 1967 году он окончил военное училище и затем служил офицером в воздушно-десантных войсках. Сейчас он студент Литературного института имени А. М. Горького.

✪

Нет, я не о тяжелом хлебе
и не о том, что может всяк...
До той поры, покуда в небе
друзья, для неба не иссяк
и я. Но даже выйдет если
мне жизнь длиннее остальных,
всегда слагать я буду песни
про небо и друзей моих.

✪

Я, испытанный небом,
никогда и нигде
не рассказывал небыль
о путях к высоте.
Были страх и сомненья,
неизвестность была.
Только я вдохновенье
уложил в купола.
Проверяли дотошно —
(вдруг чего-то не так)
не ругали безбожно,
лишь ворчали: «Салляк».
Но напрасной обиды
я в себе не таил.
Среди видевших виды
я считался своим.
Руку жали надежно
и шутили слегка:
«С ростом этаким можно
зацепить облака».
Но у краешка люка,
где по коже — мороз,
в каждом видел я друга.
...Ничего не стряслось!
И на пятой секунде
от рывка в синеву
представленье о чуде
получил наяву.

Как вчера...
          Но и ныне
я себя узнаю
меж друзьями своими,
в их крылатом строю.

✪

Присела у стола — и закурила.
Поправила движением руки
На переносье сползшие уныло
Не очень симпатичные очки.
Пригладила седеющие пряди,
Слегка плечами зябко повела
И замерла, на дверь тоскливо глядя...
Она кого-то все еще ждала.

✪

Девочка, зачем твоя игра
с незамысловатыми ходами!
То, что для меня уже вчера,
ты еще прочувствуешь годами.
Не увидишь, что там впереди,
обернешься — только пыль клубится...
Ты меня, пожалуйста, прости,
что хотел в который раз влюбиться.
Прошлые мгновенья не вернуть,
все равно как в детстве не проснуться.
Это очень страшно — обмануть,
лучше уж, как прежде, обмануться.

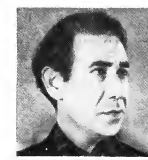
Пионерское

Где мои тринадцать лет! —
Посмотрю назад,
А они шагают вслед,
Галстуки горят.
Дробью сыплет барабан,
Вьется красный флаг...
Значит, я вожатым стал,
Не заметил — как.
Впрочем, нечего грустить,
Если возраст твой
Позволяет годным быть
К службе строевой.
Все дороги — впереди,
Впереди — бои.
За собою мне вести
И стихи свои.
Приведя такой пример,
Я хотел бы знать:
Кем, товарищ пионер,
Ты мечтаешь стать!

Тебе

...Едва сомкну глаза, воспоминания
из темноты струятся и шумят,
и я, уже приученный заранее,
топлю в них все сомненья, как щенят.
Когда б ты обо мне сегодня думала
и присылала письма иногда,
я б из себя уже не делал пугала,
сбрил бороду. Зачем мне борода!

Шукрулло



Зимнее утро

Мела метель, а утром тихо сплошь
И белоснежно все, что видно глазу.
Смотрю, и кажется, что снег похож
На белый шелк, не стиранный ни разу.

Сегодня мир, как никогда, красив,
Снег на полях соседних, склонах дальних,
Пушисты на заре и ветви ив
И ветви тополей пирамидальных.

И кажется мне в этот ранний час,
Что не мела метель во все пределы
И души всех и каждого из нас,
Как ныне этот снег, чисты и белы.

✪

Я молод был, и сила бушевала,
Мечтал лететь. Куда!
Куда-нибудь!
Влюблялся, страсти мне теснили грудь,
Ночами я не мог уснуть бывало.

Кто знает: я постиг ли жизни суть!
Но знаю: срок пришел угомониться.
Чему случилось сбыться иль не сбыться,
Жизнь рассудила. Я вершу свой путь.
Так почему же мне опять не спится!

О молодости, что не повторится,
Я думаю и не могу уснуть.

✪

Был летом зелен сад, а ныне сед,
Нет в цветнике былого аромата,
И журавли за прошлым летом вслед,
Курлыча, улетают вдаль куда-то.

Гляжу я в небо, где на склоне дня
С тоскою пролетают их станицы,
Как бы зовя в попутчики меня.
Я говорю: «Счастливый путь вам, птицы!

Я ни за что не осуждаю вас,
Пускай летят летящие, но все же
В преддверии зимы, в суровый час
Нам, людям, покидать свой край негоже!»

Перевел с узбекского
Н. ГРЕБНЕВ

Я тоже с собой привез. Я не называю себя театралом, никакой я не театрал, но бывает иногда настроение сходить в театр. Это настроение я с собой тоже из города привез. Это мои потребности. Чувствую, вертится у вас вопрос о возможностях. Что ж, пожалуйста. У нас самая большая в области сельская библиотека, кинозал шикарный, широкоэкранная установка. Зал у нас никому не стыдно показать — все артисты, которые приезжают в Горький, нас не минуют. У них план по обслуживанию села, а у нас — зал. Так что наши интересы совпадают. А если не к нам, то мы к ним. Соколов никогда не жалеет автобус откомандировать в Горький: в цирк, в театр, на концерт. Утром заявку на автобус, к вечеру автобус, как штык, у правления или там у Дома культуры. Одного мало — два, и поехали. Я про москвичей не буду говорить — не знаю, а вот спросите у горьковчанина, ведь реже бывают они в театре, честное слово. Один-то человек когда соберется, а в деревне сосед соседа агитирует. И на другой день после поездки куда ни придешь, везде разговаривают про спектакль, не хочется олухом-то среди своих выглядеть, верно?

Тут, между прочим, важно, как председатель к этому относится. А у него и библиотека прекрасная, и в театр он всегда едет, люди-то все это видят. Соколов умеет привязать к себе людей. С молодежью он никогда сюсюкать не будет, не будет уговаривать, если кто из молодых решил уезжать,— езжай. Он напомнит, что у нас есть, что ты потеряешь, если уедешь. Но он не будет держать. Он уже в колхозе двадцать лет председателем. Вся эта молодежь родилась при нем, он всех знает, знает прекрасно, кого приструнить, кому волю дать. И если, допустим, кто-то уехал, он знает, кто обязательно вернется. Бывает, он ставит перед правлением вопрос: выгнать человека! Выгнать — и все. Его побаиваются, правда, но вот я видел, как на отчетном собрании ему молодежь хлопала.

А ведь он ничего особенного не говорил, просто отчитывался, говорил о перспективах. Выходило, что Холязино скоро превратится в город, маленький, но город. У нас сейчас 163 единицы мехсостава: тракторы, машины, комбайны, такая масса этой техники, не говоря уже там о культиваторах, сеялках, подборщиках, косилках. Современное оборудование на фермах. Огромное сельскохозяйственное предприятие! Колхоз у нас специализированный, строится крупнейший молочный комплекс на 2400 голов, который будет состоять из 3 моноблоков по 800 голов в каждом, это в общем — огромные цехи одного завода. Я видел крупные цехи, но то, что я вижу здесь теперь,— это впечатляет. 30 метров длиной, ферма-цех — вакуумные установки, конвейеры по раздаче кормов и... проходная! Внутри комплекса будут огромные резервуары с силосом, бетонные дороги, сенажные траншеи, стеклянные солярии для молоденьких телят. Это уже похоже на завод, на такой рабочей территории нужно быть собранным, там будет большое движение транспорта, будут молоковозы, кормораздатчики, и ты здесь не просто так, пришел погладить, ты здесь рабочий, производящий продукцию. Кого не увлечет такая мощь? Это же простор! Это же зажжет любого, кто работу с размахом любит.

Лично мне интересно все это увидеть, а увижу-то уже скоро. И работать будет интересней и жить в Холязине. А может, кому и скучно. Но тут уж, знаете, как говорят: не ищи в селе, ищи — в себе...

Александр
КОСТИН,
зав. сектором
Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС,
доктор исторических наук

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ «ИСКРЫ»

Семьдесят пять лет назад, когда начала выходить «Искра», для многих общественных деятелей, в том числе социалистов, вопрос «Что делать?» оставался тайной за семью печатями. Даже среди лиц, причислявших себя к лагерю революционеров, было немало скептиков, не веривших в реальность ленинского плана построения партии при помощи общерусской политической газеты и предрекавших ему неизбежный провал. Один из них — редактор журнала «Свобода» Л. Надеждин иронически писал по поводу выхода «Искры»: «Неопалимая купина, сама горит, а других не зажигает».

Однако история зло посмеялась над «пророчествами» горе-теоретиков народнического и реформистского толка. Деятельность старой «Искры», завершившаяся созданием первой пролетарской партии нового типа, составила целую эпоху, интерес к которой постоянно возрастает. Об «Искре» и ее времени пишутся все новые и новые книги, ей посвящена большая научно-популярная и художественная литература. Наряду с официальными документами партийных организаций и свидетельствами современников бесценный материал для историка представляет литературное наследие тех лет, прежде всего подлинники номеров газеты «Искра», журнала «Заря», ряда оригинальных брошюр и листовок. Эти первоисточники позволяют исследователям проникать в самую суть исторических событий прошлого, правдиво раскрывать сложный процесс формирования большевизма как течения политической мысли и как политической партии.

НАХОДКА В ГОРОДЕ НА ДНЕСТРЕ

Между тем за давностью лет поиск новых первоисточников весьма затруднен и не всегда пользуется должной поддержкой. Двадцать лет прошло с тех пор, как в Бургасе, близ болгарской столицы, был найден полный комплект ленинской «Искры». Некоторые наши искроведы усомнились в возможности аналогичных открытий в будущем. К счастью, эти сомнения не оправдались. Недавно обнаружен новый тайник искровской литературы на Украине.

Заметим кстати, что эта тайна старинного украинского городка на Днестре была раскрыта совершенно случайно, без хлопотливого поиска следопытов. Впрочем, в этом нет ничего из ряда вон выходящего. История далеко не всегда охотно идет навстречу исследователям старины; скупо, без спешки поверяет она свои секреты.

Так произошло и на этот раз. В одном из августовских номеров «Правды» за 1971 год появилось краткое сообщение, поступившее из Белгорода-Днестровского, Одесской области, когда-то именовавшегося Аккерманом. «При ремонте дома № 16 по улице Пушкина,— писал корреспондент газеты с места событий,— рабочие Г. Шинкаренко и М. Котелкин обнаружили на чердаке 24 экземпляра ленинской «Искры» за 1901—1903 годы». Кроме этого комплекта, в тайнике, как сообщала «Правда», были найдены многочисленные издания социал-демократической литературы. Среди них — проект первой программы РСДРП, извещение о II съезде РСДРП, оттиски отдельных статей из газеты «Искра» и журнала «Заря», сатирическая брошюра Карла Либкнехта «Пауки и мухи», листовки центральных и мёстных партийных организаций того времени.

Сотрудники партийного архива Одесского обкома Компартии Украины составили подробный перечень обнаруженных материалов. В него вошло свыше шестидесяти различных названий запрещенной царским правительством революционной печати — газет, журналов, брошюр, печатные и рукописные прокламации, тетради с цифрами тайнозаписи. Обращает на себя внимание небольшой карманный блокнот с шифровальными ключами к тайной переписке между пар-

Дом, на чердаке которого обнаружен тайник искровской литературы.

тийными организациями, действовавшими в глубоком подполье самодержавной России.

Особую ценность представляли номера «Искры», где наряду с выступлениями Г. В. Плеханова и других сотрудников редакции систематически печатались ленинские статьи. В числе наиболее крупных работ В. И. Ленина — «Новое побоище», «Московские зубатовцы в Петербурге», «Г. Струве, изобличенный своим сотрудником», «По поводу заявления Бунда», «О Манифесте «Союза армянских социал-демократов». Посвященные актуальным вопросам теории и практики рабочего движения, пролетарской партии, они несли в себе заряд громадной идейной силы.

Для исследователей искровской эпохи белгород-днестровская находка не явилась полной неожиданностью. Дело в том, что в системе транспортных путей, по которым «Искра» переправлялась из-за границы в Россию, болгарский (Варна — Одесса) и румынский (Яссы — Кишинев) занимали достойное место. Сюда, в Аккерман, находившийся в ста верстах от Одессы, запретная революционная литература могла поступать не только через Болгарию, но и через Румынию. В то же время наличие в тайнике большого количества листковой литературы свидетельствовало об активной издательской деятельности местных искровцев.

Но о делах одесских искровцев и первых агентах «Искры» на юге России речь пойдет ниже. А сейчас расскажем о тех, кто хранил «Искру» в стенах старого Аккермана, о людях, проживавших на заре нашего века в доме № 16 по улице Пушкина...

Студеным и ветреным январским утром местная электричка доставила нас из шумной Одессы в тихий и уютный городок, расположенный у самого устья Днестра, на правом берегу широкого лимана. Этот древнейший город, берущий свое начало у истоков славянского средневековья, за годы Советской власти заново возродился и помолодел. Он стал крупным промышленным и культурным центром Приднестровья, где новые массивы современных зданий мирно соседствуют с приземистыми глинобитными постройками прошлых веков. Среди многочисленных памятников старины белгородцы бережно хранят ветхий домик, в котором 155 лет назад останавливался А. С. Пушкин. По преданию, именно в Аккермане он задумал написать свободолюбивое стихотворение «К Овидию».

На Пушкинской улице города расположен и специально интересующий нас одноэтажный дом семьи Поповых, на чердаке которого была найдена социал-демократическая литература. О первом владельце этого дома — Х. С. Попове, поселившемся здесь около середины XIX столетия, история не оставила нам сколько-нибудь полных сведений. По свидетельству старожилов, Христофор Сергеевич был человеком заметным в округе; он считался крупным знатоком виноделия. Можно лишь предположительно судить о том, как и почему в доме Поповых, несмотря на неусыпную бдительность царской охранки, хранилась запрещенная литература, а дети воспитывались в духе высокого гражданского долга и вырастали революционерами.

По данным, содержащимся в ряде источников, все члены семьи Христофора Сергеевича, за исключением рано умершего младшего сына, принимали самое деятельное участие в революционном движении. Активным участником первой русской революции был сын Х. С. Попова — Андрей. Погиб он трагически в 1905 году: после одного из митингов в Одессе, на котором он выступил с разоблачением реакционной политики самодержавия, черносотенцы схватили его и утопили в море. Другой сын, Александр, проявил себя как смелый революционер-агитатор в февральские дни 1917 года. За распространение революционных листовок и антивоенную агитацию среди моряков он был арестован, заключен в тюрьму и зверски избит. После освобождения из тюрьмы в октябре 1917 года Александр работал в одном из госпиталей. Здесь он тяжело заболел и вскоре скончался.

Жизнь, полная невзгод, выпала и на долю дочери Х. С. Попова — Елены. За активную революционную деятельность она была арестована и сослана в Сибирь, где похоронила мужа и двоих детей, умерших от истощения. Вернувшись в 1917 году из ссылки, Елена Христофоровна стала работать участковым врачом в Молдавии. Погибла она от рук фашистов во время оккупации.

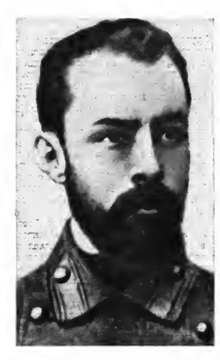
Самой яркой фигурой в семье Поповых был Леон Христофорович. В те далекие годы, когда «Искра» появилась на южных широтах России, он учился в старших классах аккерманской гимназии и всячески содействовал распространению революционной литературы. Устройство партийного склада искровских изданий на чердаке отчего дома было, по всей вероятности, первым смелым шагом его юности. Из предельно краткой справки партийного архива мы узнаем о дальнейшем жизненном пути Леона, бесстрашного революционера-подпольщика, героя гражданской войны, первого председателя советского Красного Креста. Летом 1919 года в связи с разразившейся эпидемией сыпняка он едет в действующую армию в качестве старшего врача-эпидемиолога. В городе Ишиме он организует госпиталь и самоотверженно борется за спасение жизней красных воинов, сражавшихся против Колчака. 7 декабря Леон Христофорович заразился сыпным тифом, а через неделю скончался. Стойкий большевик-ленинец, он имел полное моральное право завещать своему сыну при отъезде на Восточный фронт: «Будь похожим на меня делами».

Как видим, документы, извлеченные из аккерманского тайника, напомнили об удивительной судьбе всей фамилии Поповых — семьи скромных тружеников и отважных революционеров, чья жизнь и подвиг еще ждут своего исследователя.

«ИСКРА» И ОДЕССКИЕ ИСКРОВЦЫ

Анализ материалов белгород-днестровской находки показывает, что ближайшим местом их отправки была Одесса. Об этом свидетельствует большое количество листовок, под которыми стоит подпись: «Одесский комитет РСДРП». Следовательно, в Одессе или ее пригородах действовала группа искровцев, снабжавшая Аккерман запрещенными изданиями. Но Аккерман, вероятно, был не конечным, а всего лишь перевалочным пунктом, откуда нелегальная революционная литература переправлялась в Кишинев, Херсон, Николаев, Елизаветград и другие города.

В планах редакции «Искры», ставившей целью объединение местных комитетов и групп РСДРП в единую и централизованную партию, придавалось особое значение Одессе. «Нам нужнее всего человек в Одессе,— писала Н. К. Крупская летом 1901 г.,— это очень важный пункт». Известно, что через Одесский порт шли крупные внешнеторговые пути, соединявшие Россию с южной Европой. Город портовых и железнодорожных рабочих, составлявших костяк местного пролетариата, бережно хранил свои былые революционные традиции. Его ветераны еще помнили те времена, когда рабочие кружки и группы Одессы



Д. И. Ульянов.

входили в «Южнороссийский союз» — первую пролетарскую организацию. Все это возвышало рабочую Одессу в глазах искровцев.

Но история не знает прямых и проторенных дорог, ведущих к заветной цели. К началу века в рабочем движении Одессы не было единства. Среди социал-демократов царили «разброд и шатания». Здесь, как ни в одном другом городе, проявляли активность различные оппортунистические группы и течения — «экономисты», «независимцы», сторонники группы «Борьба», представители «болота». Последовательно марксистские взгляды отстаивала только «Южная революционная группа», вошедшая в контакт с первыми агентами «Искры» и способствовавшая ее распространению.

1901 год был годом упорной борьбы сторонников ленинской «Искры» за утверждение революционного направления в одесской организации РСДРП. Однако эта борьба не сразу принесла свои плоды. К концу года раскол организации еще не был преодолен, и это позволило оппортунистам под разными предлогами саботировать доставку искровской литературы в Одессу.

По указанию В. И. Ленина в Одессу было послано подкрепление. В марте 1902 года сюда приехал Д. И. Ульянов, в ноябре — Р. С. Землячка. В своей деятельности по укреплению партийной организации они опирались на помощь К. О. Левицкого, Е. П. Маттлахова и других стойких и опытных революционеров, проводивших искровскую политику. И результаты не заставили себя долго ждать. К концу года «Искра» стала регулярно поступать по одесским адресам. А вместе с тем возрастало влияние ее сторонников в социал-демократической и рабочей среде. В 1938 году Землячка вспоминала: «Мы сами учились на «Искре» и с помощью «Искры» учили рабочие массы распознавать врагов, ясно представлять себе истинные задачи революционного движения».

Свои главные удары искровцы обрушили на «экономистов». В этих условиях противники «Искры» уже не могли беспрепятственно защищать свои реформистские лозунги в рабочем движении, противопоставлять экономические требования политическим. Стачки и демонстрации рабочих стали приобретать все более массовый и организованный характер; на них все чаще выдвигались требования о восьмичасовом рабочем дне и завоевании демократических свобод.

С каждым месяцем усиливалось революционное направление и внутри самой социал-демократической организации. Преодолевая сопротивление оппортунистов, искровское крыло Одесского комитета РСДРП шаг за шагом укрепляло свои позиции. В апреле 1903 года комитет официально признал «Искру» своим руководящим органом и избрал двух делегатов на предстоявший съезд партии. Одним из этих делегатов была Р. С. Землячка.

Как известно, II съезд РСДРП, подготовленный «Искрой», явился ареной острой борьбы между сторонниками В. И. Ленина и его противниками. На съезде искровцы раскололись на большевиков и меньшевиков. После съезда, когда лидеры меньшевизма встали на путь дезорганизации и раскола созданной партии, Одесский комитет сохранил верность знамени и традициям старой «Искры», последовательно проводя в жизнь ленинские принципы партийной организации и тактики. В начале 1904 года в Одессе по инициативе Владимира Ильича было образовано Южное бюро ЦК РСДРП, развернувшее борьбу против меньшевистских дезорганизаторов, за подготовку III съезда партии.

Этот боевой период в деятельности Одесского комитета РСДРП получил отражение во многих местных изданиях нелегальной социал-демократической литературы, часть которых обнаружена в аккерманском тайнике. Среди них — листовки и прокламации, посвященные актуальным вопросам рабочего движения, разработке тактики пролетарской партии в условиях нарастания революционного кризиса в стране. С интересом читается прокламация ЦК РСДРП «Война против войны» — она разоблачала классовую сущность русско-японской войны, развязанной империалистами, подчеркивала, что победа царизма, как и его поражение в этой войне окажутся одинаково тягостными для трудящихся. Листовка заканчивалась призывом не поддаваться шовинистическому угару, распространяемому идейными прислужниками самодержавия, а требовать свержения царского правительства.

Правда, прокламация «Война против войны», написанная по свежим следам событий, еще не содержала тех глубоких обобщений по вопросам большевистской тактики, которые были изложены потом в ленинской статье «Падение Порт-Артура» и других ленинских трудах. Но боевой дух старой «Искры», общее направление ее политики по отношению к захватническим, империалистическим войнам выражены в ней со всей определенностью.

Большой интерес представляют материалы, которые затрагивали темы внутрипартийной жизни, разоблачали меньшевистских дезорганизаторов партии, рассматривали вопросы пролетарского интернационализма.

В этих материалах был отражен возросший идейный уровень Одесской партийной организации, подъем ее политической активности.

Примечательно, что некоторые из найденных листовок и прокламаций, изданных в одесском подполье между II и III съездами партии, являются уникальными. Они служат новыми документальными свидетельствами, позволяющими исследователям полнее раскрыть сложную историю становления и деятельности Одесской организации РСДРП — надежного оплота большевизма на юге России.

ПУТЬ БОЛГАРИНА. ИВАН ЗАГУБАНСКИЙ И ДРУГИЕ

Ленин был не только ведущим теоретиком, но и главным практическим руководителем «Искры». В его руках сосредоточивались все нити, связывающие редакцию газеты с ее агентами и партийными работниками на местах. Он был инициатором и наставником общерусской организации «Искры», сплотившей вокруг себя широкую сеть периферийного актива. Без такой организации, установившей тесную и регулярную связь редакции с местными комитетами и группами РСДРП, «Искра» не могла бы выполнить своей выдающейся роли в создании единой и централизованной партии российского пролетариата.

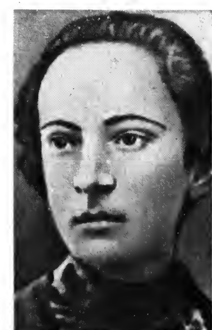
Первостепенным делом искровской организации В. И. Ленин считал доставку газеты в Россию к читателям. Между тем постановка «социалистической почты» была сопряжена с громадными трудностями. Транспортировка «Искры» и искровской литературы из-за границы требовала немалых денежных затрат, установления конспиративных связей, четкой организованности и дисциплины. В письмах В. И. Ленина и Н. К. Крупской, адресованных многочисленным корреспондентам, содержатся настойчивые просьбы добиваться повсеместного распространения «Искры», сделать ее достоянием самого широкого слоя рабочих и революционной интеллигенции. «...Весь гвоздь нашего дела теперь,— говорилось в одном из таких писем от 1 июня 1901 г.,— перевозка, перевозка и перевозка. Кто хочет нам помочь, пусть всецело наляжет на это».

До сих пор советскими исследователями было открыто не менее семи путей, по которым «Искра» доставлялась в Россию. Транспортные пути газеты простирались не только по суше, но и по морям, пересекая границы многих государств. Три из них вели к южным воротам страны: румынский, через Яссы и Кишинев, болгарский, через Варну на Одессу, и третий, морской путь, через Марсель — Александрию на Херсон и Батум.

Разумеется, история каждого из названных путей богата многими интересными фактами и событиями, но их описание выходит за рамки настоящего очерка. Отметим лишь, что на первых порах, а именно с сентября по декабрь 1901 года, самое большое оживление наблюдалось на болгарском транспортном пути, на линии Варна — Одесса.

Этот путь «Искры» вступил в действие при самой активной помощи болгарских революционеров. Среди «тесняков» (революционное крыло социал-демократической партии Болгарии) «Искра» пользовалась большим влиянием и поддержкой. Первое время, до вмешательства царских властей России, «Искра» открыто распространялась в болгарских городах; статьи из органа русских марксистов часто перепечатывались и широко комментировались в рабочей печати. «Искра», писала в июле 1903 года газета болгарских социал-демократов, «вскрывает перед удивленным взглядом эпоху борьбы, современниками которой мы являемся. Ледяное царство севера тает, там наступает уже весна... Каждый новый номер «Искры» приносит нам новые и новые предвестники грядущей победы».

Через наборщика типографии И. С. Блюменфельда и болгарских студентов, учившихся в Германии, редакция «Искры» установила связь с Г. И. Бакаловым, одним из видных представителей «тесняков». Бакалов проживал тогда в Варне. Из Мюнхена в Варну приехала летом 1901 года К. И. Захарова — агент «Искры» и организатор ее перевозки из Болгарии в Одессу. Здесь «Тодорка», как теперь ее называли друзья и знакомые, договорилась с Бакаловым об устройстве постоянного склада искровской литературы, откуда она должна была регулярно доставляться в Одессу. За рискованное дело перевозки чемоданов с «Искрой» через границу взялся 24-летний болгарский рабочий Иван Загубанский.



Р. С. Землячка.

Слесарь по специальности, И. Г. Загубанский из-за кризиса и безработицы был вынужден часто менять свою профессию, становясь то учителем, то разнорабочим. Скитания по «чужим людям» заставили молодого парня рано задуматься над трудностями жизни, тянуться к источнику света и знания. Оказавшись в поисках заработка в Варне, он знакомится здесь с хозяевами «книжарицы» — магазина партийной литературы—Стефаном Георгиевым и Георгием Бакаловым. Под их влиянием Загубанский приобщается к марксизму, становится активным политическим бойцом партии «тесняков». Позднее о нем будут сказаны такие слова: «Застенчивый и тихий перед людьми, он скрывал в себе бурный дух революционера, толкнувший его к жертве. И он принес эту жертву, не дрогнув».

Опасное поручение по перевозке искровской литературы Иван Загубанский воспринял как самое почетное партийное задание. На явочную квартиру в Одессе он стал привозить нелегальный груз не только морским, но и сухопутным путем. Первый транспорт с «Искрой» был им доставлен к месту назначения 19 сентября 1901 года. Путь Варна — Одесса «заработал».

Появление «Искры» на юге России вызвало переполох среди полицейских. Начальник Одесского жандармского управления Бессонов немедленно распорядился усилить надзор за «подозрительными элементами». Вскоре царские ищейки напали на след «Тодорки» и установили тщательный контроль за ее связями. 25 октября она не без опаски сообщала мюнхенской редакции «Искры»: «на тот адрес, что я дала, пока не пишите, так как там что-то неладно. Пишите по старому прямо мне. Пока я приостановлю на 2 недели приезд, так как у меня нет

И. Г. Загубанский.

определенной квартиры, а здешнее настроение тревожное».

Между тем визиты Загубанского в Одессу не прекращались. В сентябре и октябре он успел сделать еще три благополучных рейса, пополнивших скудные литературные запасы одесских тайников. По данным редакции «Искры», за время с декабря 1900 по февраль 1902 года в Россию было отправлено 60 чемоданов с литературой. Десять из них прошло путем болгарина.

1 декабря 1901 года Загубанский доставил в Одессу свой пятый, и последний, транспорт. В двух чемоданах, набитых запрещенной литературой, было 650 экземпляров 9-го и 10-го номеров «Искры». Но явочная квартира 23 по Княжской, 20, куда Загубанский вносит свой багаж, держится в засаде. Здесь его арестовывают и заключают в одесскую тюрьму. Через несколько часов на той же улице переодетые жандармы схватили и «Тодорку» — К. И. Захарову. Ей предстояли годы заключения и сибирская ссылка.

Тюремные власти приложили немало усилий, чтобы заставить Загубанского «расколоться» и выдать своих русских товарищей. Однако ни угрозы, ни телесные истязания, ни карцеры не сломили железной воли молодого болгарского революционера: он упорно отказывался отвечать на «наводящие» вопросы следователей, писал протесты против дикого произвола тюремщиков, объявлял голодовки и требовал свидания с болгарским дипломатическим представителем. Его трижды уличали в попытке к бегству. Наконец, на исходе 19-го месяца заключения в Одесском и Самарском острогах царское правительство — отнюдь не по соображениям гуманности, а во избежание дипломатического скандала — решило избавиться от «неблагонадежного иностранца». Оно не могло не принимать в расчет, что Загубанский был болгарским подданным, к тому же заболевшим по вине тюремщиков тяжелым недугом — туберкулезом легких. В конце 1903 года он был выпущен из Самарского острога и выслан на родину.

После возвращения в Болгарию Иван Загубанский не прожил и одного года. Слабое здоровье, подорванное физическими и нравственными пытками в тюремных застенках, быстро угасало. Загубанский умер в своем родном городе Сопоте за шесть месяцев до начала первой народной революции в России, о которой он так страстно мечтал и которой отдал без остатка все свои молодые силы.

Великая историческая миссия, выпавшая на долю ленинской «Искры», словно магнит, притягивала к себе революционеров разных стран и наций. В ряду ее верных друзей и помощников вместе с болгарами находились немцы, чехи, поляки, финны, румыны, французы и англичане. Широкие интернациональные связи во многом способствовали тому, что «Искра» сумела успешно выполнить свою роль коллективного организатора РСДРП — боевой революционной партии российского пролетариата.

«Искра» вырастила целое поколение профессиональных революционеров, вынесших на своих плечах всю тяжесть борьбы за создание партии. Истории хорошо известны имена И. В. Бабушкина, Н. Э. Баумана, Г. М. Кржижановского, П. А. Красикова, В. З. Кецховели, П. Н. Лепешинского, И. И. Радченко, Р. С. Землячки, Д. И. Ульянова и многих других агентов газеты, которые работали в суровых условиях подполья в самой гуще пролетарских масс. «Все, что отвоевано было у царского самодержавия,— писал В. И. Ленин,— отвоевано и с к л ю ч и т е л ь н о борьбой масс, руководимых такими людьми, как Бабушкин».

Деятельность старой «Искры» составила яркую страницу в истории КПСС начального периода. Идейно разгромив «экономистов» и их зарубежных партнеров — бернштейнианцев, она заложила прочные теоретические основы большевистской партии, выработала подлинно научную программу борьбы рабочего класса за свое социальное освобождение. Тем самым «Искра» способствовала перемещению центра мирового революционно-освободительного движения с запада на восток—в Россию. Из зажженной Лениным «Искры» разгорелось негасимое пламя великой революции, которая свергла власть помещиков и капиталистов и проложила путь к новой жизни, к строительству социализма и коммунизма.

Елена
БРУСКОВА

БЕЛЫЕ ИКОНЫ

Он стоял у самого края барьера, отделяющего галерку от партера: в венской консерватории, как и в опере, стоячая галерка сразу за партером. Стоял он как-то неудобно, не прислонившись, как его соседи, не облокотившись, а лишь касаясь рукой барьера. Не было, наверное, в зале более внимательного зрителя. Слушал он так, словно пели ему, что-то сокровенное сообщали для него. Только для него. Когда зал взрывался аплодисментами, он очень неохотно отнимал руку от барьера, делал два-три хлопка и опять стоял в той же позе, нетерпеливо ожидая продолжения. Мне показался знакомым наклон его головы, где-то видела я этого человека...

Пусть простят мне исполнители, я иногда на концертах смотрю в бинокль в сторону, совсем противоположную сцене. На публику. В Москве я этого не делаю. Дома вся публика понятна и проста. А здесь, в Вене, на концертах, где звучит русская музыка и русское слово, здесь слушают по-иному. Здесь для многих это не просто вечер Чайковского, не только прекрасный баритон Юрия Мазурока. Это встреча с Родиной, потерянной по своей и не по своей воле, с тем русским, что ни годы, ни расстояния не смывают, не заслоняют. Не затягивается это пленкой забвения, не скрывается за новыми забота-

Рисунок Е. ЛЕХТА.

ми, за чужой жизнью, которая вроде и стала твоей и не стала. И какие лица здесь можно увидеть, какие глаза!..

Нет, не могла я вспомнить, где я его видела. Ошиблась, наверное, почудилось. Да и не русский, может быть, он вовсе. Мало ли в зале других, не открывавших программку со словами перевода.

— Елена Сергеевна,— он ждал меня у гардероба,— как я рад, что вас увидел. Мне Светлана писала, что вы все еще работаете в Вене.

Несколько лет назад моя бывшая ученица Светлана позвонила по телефону и сказала, что она выходит замуж за гениального художника. Я до сих пор зову их девочками, а у них уже свои дети, свои семьи. Они уже давно взрослые, я давно ушла из школы, но как-то так получилось, что мой первый школьный выпуск остался в моей жизни. Не весь, конечно: кого-то я не видела совсем, кто-то приходил со своими радостями и бедами. Чаще всего почему-то с бедами.

Приглашение на свадьбу в кафе «Лель» пришло, когда я была по заданию редакции во Фрунзе, и увидела я Светланиного художника много позже, когда она пришла ко мне за советом. У Сергея не ладилось с работой. Почти все его бывшие сокурсники уже приняты в члены Союза художников, а его не принимают. Не признают, затирают, завидуют. Просто, как считала она, Сергей работает в той манере, которая у нас не принята, многими осуждается. Светлане очень хотелось, чтобы я посмотрела его работы.

Был мерзкий февральский день, с мокрым снегом и пронзительным ветром. И Светлана, когда мы сошли с автобуса, поворачивалась к ветру спиной, чтобы договорить, дорассказать. Учился Сергей хорошо. И дипломную работу его очень хвалили, и на выпускном вечере, где Светлана была, какой-то маститый художник, имя которого ей сейчас никак не вспоминалось, предрекал ему большое будущее. А теперь и заказов он не получает, и на выставки его работы не берут. Но он же не виноват, что не может рисовать только в реалистической манере. Она его не осуждает, она его уважает. Человек не хочет идти на компромиссы, не может, не умеет. Но мало ли история знает примеров, когда людей при жизни называли безумцами, а после смерти объявляли гениями?! Светлана окончила Московский инженерно-строительный институт и работала в проектном институте. В школе ее в музей, на выставку живописи затащить было почти невозможно. Но чего только любовь не делает! Теперь она все знала: как голодал Модильяни, как бедствовал Ван Гог, как не признавали Фалька.. Жили они на Красной Пресне, в деревянном двухэтажном доме, тесно окруженном современными башнями. Дверь была обита дерматином, наверное, еще до революции. Медные гвоздики с затейливыми шляпками позеленели, а из дыр торчала пакля. И над всем этим висел от руки красной вязью написанный плакатик «Художник Кузнецов С. И.».

Сергей показывал мне свои работы, и все эти фиолетовые, зеленые и синие пятна как-то назывались. Были и реалистические натюрморты. Черный котелок на белом столе; связка лука на стуле; три селедочные головы на розовом бархате. Все я смотрела молча, а головы меня всерьез поразили.

— Ну, а это-то что? — спросила я.

И Сергей ответил.

— Неужели вам не ясно? Это — противоречие жизни.

У него не было наивной Светланиной уверенности, что я смогу ему помочь советом или делом. Поэтому ни совета, ни помощи он у меня не просил. Своими абстрактными работами Сергей гордился, а портреты показал к концу вечера, да и то по настоятельной просьбе Светланы. Два из них я и сейчас помню, словно видела их час назад.

Тонкое злобное лицо женщины с сухими губами и совсем красными глазами, в которые долго смотреть страшно. Портрет так и назывался «Злоба». На другом была нарисована сидящая свинья. В кресле, в синем строгом костюме с белой кофточкой, а из свиного рыла проглядывало человечье лицо. Глаза были совсем человечьи, но тоже нехорошие, недобрые глаза. И лицо — если это слово употребимо для симбиоза женщины-свиньи — «лицо» было самодовольное, тупое. Другие портреты меня тоже заинтересовали: написаны злой кистью, но точные, смело выполненные характеры. И тогда мне показалось, что, наверное, не так уж слепа Светланина любовь. Он действительно талантлив, ее Сергей. И еще я подумала, что он бы смог иллюстрировать Салтыкова-Щедрина. Подумала и сказала.

— Нет,— резко ответил Сергей.— Это мне неинтересно. Да и портреты мои не нравятся. Нетипично, «карикатура на советского человека»,— процитировал он кого-то.— Но меня это не огорчает. Я хочу и буду писать только абстракцию.

В тот вечер я впервые услышала от Сергея, что есть для него один выход — работа за границей, где абстракционистов и понимают, и выставляют, и ценят. И по тому, как Светлана взглянула на него, я поняла, что она-то это слышит не впервые.

— У нас,— сказал он тогда,— я могу рассчитывать на признание, если поступлюсь своими вкусами, стану работать ради денег. Но не могу я работать ради денег, я себя тогда уважать перестану.

— Мне кажется, что вы преувеличиваете, Сергей,— ответила я.— Конечно, самое большое счастье для творческого человека, для человека любой профессии делать то, что ему самому кажется самым интересным и важным. Но не всегда оно так получается. И очень часто совсем не по вине, как вы говорите, «бюрократов от культуры», а по многим другим чисто объективным причинам. И неужели вы всерьез считаете, что за границей художники не думают о куске хлеба, о конъюнктуре, о вкусах публики? Что там любому абстракционисту легче и проще?

Так примерно он и считал. Но разговора на эту тему не получилось. Да и его идеи о работе за границей казались тогда простыми словами, позой.

Увиделись мы с ним много позже, в один из моих приездов в отпуск из Вены, когда они со Светланой уже разошлись. Про развод Светлана сказала торопливо, показывая, что тему эту обсуждать не нужно. Мы и не обсуждали. Она просила встретиться с Сергеем и поговорить — он всерьез собрался уезжать. Может быть, я уговорю его.

— Конечно,— сказала я,— пожалуйста. А куда и как он собирается поехать?

— Во Францию,— ответила Светлана каким-то не своим голосом.— Он решил жениться на француженке, которая работала стендисткой у нас на выставке. А Сергей подрабатывал там, писал шрифты.

Встретились мы с Сергеем без Светланы, в редакции. Он был хмур, озабочен и меньше всего похож на счастливого жениха. И разговор получился натянутым, неловким. Да и что я могла ему рассказать? Чужие истории, чужие судьбы, как я давно поняла, редко кого убеждают. Кажется, что твоя собственная сложится иначе, счастливее, удачнее. Что скажешь не очень хорошо знакомому человеку, если кроме, на мой взгляд, сомнительной возможности проявить себя как художника, им движут и куда более сложные чувства? Может, он и вправду так любит свою стендистку, что решил оставить все. Родину, дом, друзей?

— Не судите меня строго,— сказал он на прощание,— со Светланой ничего уже не склеится у нас. А там я смогу работать, как хочу... Не судьба,— улыбнулся он тогда грустно,— писать бы мне счастливых колхозников, а не получается,— хотите верьте, хотите нет, а я им завидую, тем, кто счастливых колхозников пишет.

Я не выдержала:

— И женитесь вы тоже из-за любви к абстрактному искусству?

— Ну зачем вы так зло? — сказал он мне.

Так и не видела я его с тех пор. Светлана мне больше не звонила, не писала. И сейчас, стоя в почти опустевшем фойе, я подсчитывала, сколько же лет прошло. Четыре года. Подумать только — четыре года...

На следующий день мы с Сергеем сидели в маленьком тихом венском кафе, где днем пожилые люди часами листают иллюстрированные журналы, и к кофе по старой венской традиции подают стаканчики с водой.

— Единственное, что я признаю в з т о й жизни,— сказал Сергей, устроившись за столиком, отгороженным от другого деревянной стенкой-спинкой с затейливыми резными линиями, увидевшими свет где-то в начале века,— это уютные кафе. Есть какая-то историческая несправедливость в этом. У нас в Москве так любят поговорить, а таких кафе нет, негде разговаривать. А здесь есть где, а не с кем. Или не о чем. Или некогда. Посмотрите, все сидят по одному за столиками и тихо-мирно листают свои журнальчики. Ну, эти уже на пенсии, у них время есть журнальчики листать. А остальные дела делают, им не до разговоров в кафе. Неужели, когда и мы, наконец, заведем маленькие кафе, мы тоже разучимся разговаривать?!

Я молчала, понимая, что не для того пришел он, чтобы выяснять достоинства уютных кафе.

Он носил теперь длинные волосы и выглядел очень европейским в костюме из модного в этом сезоне бархата. Наверное, покажись он сейчас в Москве вечером на Арбате, не один взгляд мальчишки, считающего бархатный костюм эталоном благополучия, проводил бы его. А я все вспоминаю, какое лицо было у него на концерте: человека, потерявшего в жизни что-то важное. И сейчас он глядел устало и отрешенно.

Нам поставили на мраморный столик два блестящих подноса с чашками кофе, который, как уверяют австрийцы, по-настоящему умеют делать только в Вене.

— Вот чай,— сказал Сергей,— чай здесь пить нельзя.

Мы опять помолчали. Он скатал шарик из крошек венской плюшки, что была заказана к кофе, и, покрутив его по столу, сказал, посмотрев мне в глаза:

— Не надо меня жалеть!

Ну, уж этого я никак не хотела. И я улыбнулась самой очаровательной неестественной улыбкой, на которую была способна. С чего это он? Ничего подобного, право, он ошибается.

— С точки зрения человеческих благ,— продолжал Сергей,— все обстоит благополучно. Я работаю, у меня приличная зарплата, не думаю, что я ее потеряю. Кажется, мной довольны. Ну, а если говорить обо всем другом...

Но рассказывать пришлось с самого начала, немного «вернувшись» назад, в Москву. Портреты и некоторые абстрактные картины Сергей продал еще в Москве. Иностранцам. С этого, собственно говоря, и начались у них серьезные споры со Светланой, приведшие в конце концов к разводу. Иностранцы хорошо платили, очень хвалили его работы и в один голос уверяли, что у них его бы ожидало счастливое будущее. Если бы он приехал..., если бы привез свои работы...

Все эти «если» сбылись. Приехав в Париж, Сергей позвонил по нескольким телефонам, которые у него были.

— Знаете,— сказал он мне,— теперь я сужу об этом по-другому. Это тогда я был возмущен и обижен. Теперь я понимаю: не обманщики они и не подонки, как я думал, не получив того, на что рассчитывал. Нет, нет, не подумайте, все было по-европейски корректно и честно. Один дал адрес хозяина галереи и свою визитную карточку, чтобы я на него сослался. Другой при мне позвонил устроителю выставки. Третий сразу сказал: у него очень срочный заказ, ни минуты свободной. И все. Сами они моего телефона не спрашивали, в гости не звали, встретиться не предлагали. Не знаю, как вам это лучше объяснить...

Не надо было мне ничего объяснять. Я давно поняла: мы в одни и те же понятия вкладываем разное содержание. Вежливая фраза западного человека совсем не влечет за собой никаких моральных обязательств. Это форма общения, чисто внешнее проявление европейской цивилизованности.

— Пожалуй, так,— продолжал он,— они действительно очень занятые, деловые люди. И эта деловитость переносится на отношение к знакомым, родным, приятелям. У них считается нормальным родителей видеть два раза в год, чего уж ожидать, что они со мной возиться будут.

Не получилось у Сергея ни с выставками, ни с признанием. То ли не повезло ему с местом жительства — в Париже даже очень способному художнику трудно обратить на себя внимание, то ли действительно, как сказал один из владельцев галереи, увидев его абстрактные работы: «Драгоценный мой, ваша техника — это позавчерашний день, очень сожалею, очень хотел бы быть полезным, но вам, мой любезный, еще надо работать, работать и работать».

Ателье ему было не нужно, он не избалован, в Москве в комнате работал. Но они вначале жили в квартире родителей жены.

— Мне не надо рассказывать вам, что такое квартира среднего французского буржуа, закрывающего летом ставни, чтобы не выгорала мебель? — спросил он.

— Не надо,— сказала я.

И потом — краски. Краски стоили состояние, а у Сергея денег не было совсем. Все было сложно, все было чужим и незнакомым. И почему-то те картины, на которые он очень рассчитывал в Москве, здесь не покупались. За все время он продал три. Их взял все-таки тот самый человек, который сказал, что о своей собственной выставке ему думать еще рано. Когда Сергей первый раз узнал о проданной картине, он, забрав аванс (деньги еще не были переведены), пригласил жену и ее родителей в ресторан на ужин. Потом выяснилось, что сверх аванса ему причитаются какие-то крохи. Львиная доля полученных денег ушла на налоги и на проценты владельцу галереи. Через некоторое время Сергей понял: надо искать постоянную работу, службу.

Странный у нас с ним был разговор. Уехал он в Париж не сам по себе, а за женой. Но Сергей о ней совсем не говорил, хотя, наверное, в таких случаях их отношения — главное в его новой жизни. Он так ни разу и не назвал ее по имени, словно не из-за нее он покинул родину. А может быть, действительно, не из-за нее? Или, вернее, не только из-за нее?

С работой тоже оказалось все не так уж просто. История устройства Сергея на работу не была исключительной. Я слышала о более сложных — про инже-

неров, чьи дипломы за границей юридической силы не имели (это, кстати, не дискриминация советских вузов, это общий порядок; австриец, переехавший во Францию, должен сдать заново несколько экзаменов, чтобы получить французский диплом, без которого его на работу не возьмут); про врачей, работающих сестрами, потому что экзамен очень сложен и язык надо знать в совершенстве. У Сергея все было проще: художник может показать свои работы. Но те фирмы, где требовался художник-график или художник-декоратор, спрашивали рекомендации. И, узнав, что таковых нет и что опыта по этой специальности тоже нет, очень вежливо отказывали. Помогли приятели жены. Они порекомендовали его в реставрационную мастерскую.

Девушка, забравшая у нас подносы с чашками, кокетливо улыбнулась, и он улыбнулся в ответ.

— А у нас,— сказал Сергей, взглянув в окно, где видны были багряные листья каштанов,— наверное, уже совсем холодно.

Он так все время и говорил: «у нас — в Москве», «у них — в Париже».

— Сколько лет вы уже живете в Париже? — спросила я.

— Три,— ответил Сергей.— Три. А что?

Я сказала: «Да так»,— и он продолжал:

— Я в Москве иногда реставрацией икон подрабатывал. И здесь я был почти счастлив, что такую работу получил. Реставрационная мастерская — это куда интереснее всех тех дверей, в которые я безуспешно стучался. Но очень быстро оказалось, что это только маленькая часть заказов, выполняемых мастерской. Основная работа — сами иконы. Да, да, мы делаем иконы. Почти как настоящие, под старину. У нас есть специалисты по дереву, по краскам, по трещинам на них. Химики у нас тоже работают. С тех пор я с подозрением смотрю на бесчисленные антикварные парижские магазинчики, заваленные старой мебелью, старыми картинами. Может быть, они, конечно, и не поддельные. Но теперь-то я знаю, что и подделок много.

— Вы довольны работой?

Сергей подозвал девушку и заказал еще два кофе.

— Доволен ли я? — Это он сказал, когда на нашем столе появились две чашки и два запотевших стаканчика с водой.— Вы еще не слышали самого главного. Через некоторое время меня перевели писать иконы. Это лучшая работа. Лучше оплачиваемая,— поправился он.— Но я должен был рисовать только лица, фигуры. Фон делал другой. Тоже своего рода конвейер. Когда я первый раз увидел готовую икону, я расхохотался. Я решил, что это просто от невежества. У иконы был белый фон. Потом я разозлился: что за черт, если вы уж делаете подделки, так хотя бы так, чтобы было похоже.

Я подумала: белый фон его разозлил, а самый факт надувательства — нет. И, словно прочитав мои мысли, Сергей сказал:

— Моральная сторона дела меня не трогала, мне сразу объяснили, что иконы продаются без объявления их возраста. Следовательно, покупающий должен понимать, что приобретает подделку. Ну, что ж, это честная игра. Но белый фон на иконах такой же абсурд, как синяя зелень на копии левитановской картины. Я пошел к шефу. Выслушав меня, он сказал:

— Я бы очень хотел, дорогой коллега, чтобы вы усвоили одно: мы работаем на покупателя, и он диктует свои вкусы. Он — нам, дорогой коллега, а не мы ему. Иконы с белым фоном продаются лучше, следовательно, мы будем делать иконы с белым фоном и дальше. А историческая истина, дорогой друг, это для искусствоведов. И до тех пор, пока вас не пригласили в отдел икон Лувра, вам придется примириться с белым фоном. Кроме того,— добавил он,— я прощаю вашу неосведомленность, которая происходит в силу недостаточного знания порядков нашей фирмы. У нас содержание работы обсуждает тот, кому это положено по штату. Вы к этому числу, к вашему сведению, не относитесь.

Сергей помолчал и потом, посмотрев мне прямо в глаза, сказал:

— Торжествуйте, вы оказались правы. Торжествуйте.

Но я не торжествовала. Чего мне торжествовать? Наверное, мы все в этом виноваты, все, пишущие про заграницу, и я в том числе. Не умеем мы так писать, чтобы было понятно, как бедна может оказаться жизнь с богатыми витринами, как холоден и жестоко рационален этот внешне хорошо налаженный, четко, иногда слишком четко функционирующий мир. И как всем этим — преуспевающим и процветающим приходится дорого платить за преуспеяние и процветание. Они платятся теплом, дружбой, привязанностями, свободным временем, простыми человеческими радостями. Не до этого им, остановиться некогда, отдышаться нельзя. Как написать об этом, какие слова найти?

Как раз за день до концерта, на котором я встретила Сергея, я смотрела телевизионную воскресную передачу. Каждое воскресенье, вечером, австрийские пасторы произносят пятиминутные проповеди на всякие моральные темы. На сей раз пастор с лицом доброго сельского учителя говорил о тех, кто добровольно уходит из жизни. Так он интеллигентно называл самоубийц. И об ответственности каждого за эти уходы. Потому что чаще всего причиной этому является одиночество, «страшная болезнь нашего века», сказал он, «еще более страшная, ибо одинокий человек одинок в толпе, спешащей, суетящейся толпе, устремленной к одному и тому же финишу — успеху. Устремленной настолько, что она уже не умеет слышать, она неспособна на диалог. Она произносит только монологи. И голоса больных, несчастных, страждущих, заблудших, сомневающихся, слабых до нее не доходят».

Записать эту проповедь и напечатать... Читайте: это они сами о себе! Хотя проповеди священников как-то не принято у нас печатать...

Мы шли по теплой вечерней Вене, забывшей, что в октябре положено наступать осени. В те редкие минуты, когда мимо проносились машины, было слышно, как под ногами шуршат листья. Наверное, они пахнут. Осенние листья всегда пряно пахнут, но на улицах Вены стоит один запах — бензина.

— Вы свободны завтра? — спросил Сергей и, услышав, что я собираюсь на всемирную фотовыставку, сказал: — Можно и я с вами?

Давно мне не приходилось видеть столько беспощадных откровенных снимков. Лицо вьетнамской девочки, которая не может улыбаться: напалм стянул кожу. Человеческая рука, отброшенная взрывной волной на колючую проволоку. Дети, чьи тела высушены голодом. Бессмысленные глаза наркомана. Убитые в Ирландии. Замученные в Чили. Земля, истомленная засухой, изуродованная бетоном, загаженная нечистотами. Города, забитые людьми, машинами, уродливыми коробками домов. Пьяные, сумасшедшие, фанатики, бродяги, бездомные, бесправные.

Казалось, почти все фотографы мира потеряли способность умиляться и быть добрыми. Впрочем, судя по снимкам, им было от чего прийти в ярость. Единственный стенд показывал общество преуспевающих. Холеные и красивые дамы на каком-то торжестве.

Хорошенькие девочки на выборах какой-то королевы детского бала. Пиршество Парижского рынка. Полуготовые машины, сияющие лаком и никелем, на конвейере. И среди этого, как крик, как удар — скелетик, обтянутый кожей. Умирающий от истощения малыш в Биафре.

По нижнему залу музея, где разместилась фотовыставка, ходили человек десять — пятнадцать, не больше. Все сверяющие фотографии с подписями в каталоге — не случайные, серьезные посетители. При входе было написано, что выставка уже показывалась в Кёльне, Штутгарте, Амстердаме и Милане.

— Интересно,— сказал Сергей,— и там столько же народу было?

— Для платной выставки в Вене — это вполне нормально,— ответила я.

— Для Парижа тоже,— вздохнул Сергей.— В Париже народ собирают сенсации. А напалм, голодные дети, какая это сенсация?

Чтобы сократить путь, мы прошли через вокзал. Как всегда, по воскресеньям на вокзале стояли группки людей, очень не вяжущиеся со всем обликом делового, спешащего вокзального люда. Можно заглянуть сюда через час, через два и через три. Они вот так же, в тех же позах и на том же месте будут стоять, провожать глазами торопящихся, переговариваясь о чем-то своем на незнакомом языке. В воскресных недорогих костюмах, в ярчайших рубашках и в еще более ярких галстуках — парни Вены, негры Европы, гастарбайтеры — рабочие-гости, от которых когда-то пригласившая их Австрия не знает, как отделаться. В Австрии не самая значительная в Европе безработица, но все-таки безработица.

Пожилой мужчина, подметающий с помощью машины кафельный пол, беззлобно ворчит себе под нос:

— Шли бы домой. Домой бы шли.

Конечно, он знает, каждый в Вене знает, что большинство из них живет в комнатах, которые домом назвать трудно. С нарами, с выбитыми стеклами, без воды, без ванной, без отопления. Он видит их здесь уже не день, не два — годы. Но они ему чужие, и привычка эта собираться каждое воскресенье так вот вместе непонятна и дика.

— С этого вокзала едут в Москву? — спрашивает Сергей.

— С этого,— говорю я, замечая, что гастарбайтеров по сравнению с прошлыми месяцами стало на вокзале заметно меньше: многие работу уже потеряли.

Скверик, в который мы зашли, нежился в лучах послеобеденного удивительно теплого октябрьского солнца. Чистые дорожки, посыпанные толченым кирпичом, стриженые аккуратные газоны — ни бумажки, ни окурка. Очень бодрые пожилые люди, к которым до самой смерти слова «старик» и «старуха» не имеют никакого отношения. Они прогуливают своих собачек. С внуками здесь гулять не принято.

Мы садимся на одну из белых скамеечек с табличкой: «Пожертвовано городской сберегательной кассой».

— Что вы делали в Вене? — спрашиваю я.

Сергей молчит.

— Если я, конечно...

Он перебивает:

— Нет, нет, вы мое молчание не так истолковали. Просто я задумался. Один знакомый ехал по делам в Вену и предложил мне место в машине, а у меня, на счастье, было четыре свободных дня — в прошлом месяце был срочный заказ, и я работал по вечерам. Я давно хотел показать свои работы человеку, который, говорят, благоволит к русским: его родители уехали из Москвы вскоре после революции. У него здесь галерея.

— Получилось?

— Нет,— говорит Сергей жестко.— Вы, наверное, спрашиваете себя: зачем он мне все это рассказал?

Я делаю неопределенный жест рукой. Действительно, мелькала у меня такая мысль. Но не скажешь же человеку, который почти признался в крушении жизни, что ждешь еще какого-то практического смысла в этой истории.

— Знаете, за эти годы, за все эти годы я не встретил человека, у которого нашлось бы время и желание меня выслушать,— говорит Сергей, и теперь он не смотрит в глаза, и голос у него как-то перехватывает.— Просто выслушать — и все.

— Я хочу задать вам один вопрос, Сергей. Если почему-либо вам не хочется на него отвечать...

— Пожалуйста,— опять прерывает он,— я готов ответить на все вопросы, которые вам интересны.

Я задаю самый главный:

— Вы хотите вернуться обратно?

— Не знаю,— говорит Сергей.— Честно: не знаю. Знаю твердо: если бы я мог начать все снова, я бы не уехал. Теперь у меня семья здесь и ничего дома. Светлана вышла замуж, вы знаете?

— У вас есть новые работы?

— Я мало пишу, нет времени, изматываюсь. Это я вам так легко все нарисовал, а у нас жесткий график, за день глаза очень устают.

— А бросить службу, заниматься только живописью нельзя?

— О нет,— говорит он,— это нереально. У нас долги: выплачиваем за квартиру, за обстановку, за машину.

— А в Москве,— спрашиваю я, вспоминая Светланино старенькое демисезонное пальтишко, в котором она ходила в ту зиму, что я была у них,— это было реально?

— В Москве,— отвечает Сергей,— это было реально, потому что я верил в себя.

— А теперь вы верите в себя?

Сергей долго молчит и, когда мне уже кажется, что он не ответит, говорит:

— Я боюсь сам себе в этом признаться, но, наверное, нет. Скорее всего нет. Я вижу сейчас, какой феерически-счастливой — при всех моих творческих невзгодах в Москве — была моя жизнь там. С каким удовольствием я работал, как много писал, как горд был тем, что не отказываюсь во имя материальных благ от своего я. А теперь что я? Чиновник, клерк, которого вместо конторских бумаг каждое утро ждет деревянная доска, а вечером — телевизор или партия в шахматы с женой.

— У вас есть в Париже друзья?

— Знакомые есть,— отвечает Сергей.

— Чего вам больше всего не хватает во Франции?

— Родины,— отвечает он очень серьезно.— Родины со всем, что в ней есть. Очередей перед музеями, полных залов в кинотеатрах, споров до ночи, звонков по телефону вечером, возможности занять денег у соседей, толкотни в метро, снега московского. Меня самого, бывшего, не хватает.— Теперь он смотрит мне в глаза.— Меня самого, еще не променявшего иллюзии на «пежо» и трехкомнатную квартиру.

Мы возвращаемся мимо того же вокзала. Только неоновые рекламы делают его более нарядным. И зал уже опустел.

— Разве это тот вокзал, с которого едут в Москву? — спрашивает Сергей.

— Тот самый,— отвечаю я.— Это реклама его так меняет.

Вена.

Дмитрий
БИЛЕНКИН

ПРИРОДА ПРИСПОСАБЛИВАЕТСЯ К ЧЕЛОВЕКУ

Рисунки
И. ОФФЕНГЕНДЕНА

Тигров на Земле осталось уже немного. Собственноручно истребив в джунглях тысячу триста этих могучих, диких и прекрасных кошек, некий раджа был счастлив. Сегодня тигров всей Индии не хватит даже для двух таких охот, и по странам, где они еще уцелели, тревожно пронесся клич: «Спасайте тигров!» Спасайте, пока они еще есть.

Впрочем, что́ тигр и даже джунгли, которым грозит полное исчезновение в ближайшие полстолетия! От поступи человека теперь содрогается сама земля.

Нет, речь не о ядерных испытаниях. Может ли спокойная, будничная наша деятельность без всяких там мегатонн грозно всколыхнуть недра? Может! Этому пример — семибалльное землетрясение 1971 года на Северном Кавказе, которое было вызвано обычной, чисто производственной откачкой нефти и газов. Земля громыхнула так, что в эпицентре порушились здания.

Мы все еще по привычке немеем перед исполинским величием вулканического буйства. Лава, огонь и пепел! Потоки каменных масс, тучи до неба! Сотворение гор! Но вспомним: ежегодная продуктивность вулканов — это примерно три миллиарда тонн горных пород, а человечество за тот же срок извлекает пять — семь миллиардов тонн металлов, угля, нефти и тому подобного. Да еще попутно переворачивает, громоздит в горы 50—70 миллиардов тонн всякого песка и камня.

Таков нынешний размах воздействия человечества на природу.

Цифры экологической статистики красноречивы, осознать их значение нетрудно, но отражают они прежде всего количественную сторону явления. А количество, как известно, может перейти в качество. Подметить в живой природе симптомы такого перехода, пока они слабы и ничтожны, чрезвычайно трудно. Тем не менее наука уже и здесь располагает кое-какими наблюдениями.

Летом 1973 года некоторые наши города вдруг заполнили «божьи коровки». Тысячи людей, глядя на скопища милых букашек, улыбались и пожимали плечами: «Чего только природа не вытворяет!» Но среди удивлявшихся и улыбавшихся наверняка было немало тех, кто способствовал нашествию «божьих коровок». Как и резкому увеличению в последние десять — пятнадцать лет численности рыжих муравьев в Подмосковье (в подавляющем своем большинстве горожане на этот факт внимания не обратили, но энтомологи насторожились тотчас).

Казалось бы, какая может быть связь между внезапным обилием муравьев, нашествием «божьих коровок» и человеческой деятельностью? Где ключ к разгадке этой связи?

Обширное и регулярное применение ядохимикатов, эта поистине «экологическая бомба», произвело в рядах насекомых страшные опустошения. При этом сильно пораженными оказались многие из тех насекомых, которые питаются растительными тлями; между тем сами тли малочувствительны к ядохимикатам и, как только сдерживать их стало некому, они сразу размножились — к вящему удовольствию муравьев, которые пируют сладким соком их выделений. Воспрянул и быстро размножился и другой не сломленный ядохимикатами потребитель тлей — «божья коровка».

С нею, кстати сказать, произошла и другая характерная для наших дней история. В индустриальных районах Англии энтомологи обнаружили, что местные «божьи коровки» вдруг взяли да и потемнели. Объясняется это, судя по всему, вот чем. Загрязненность воздуха в этих индустриальных районах такова, что местами до поверхности земли доходит лишь треть солнечного излучения. И те «божьи коровки», которым при рождении случайно досталась более темная окраска, приобрели заметные преимущества: их тела лучше нагревались под скудными лучами солнца, они быстрей своих «светлокожих» собратьев находили пищу и партнеров по размножению,— и таким образом потомство «темных» быстро возобладало во всех районах, где так ухудшилась экологическая обстановка.

Подобные феномены, вызванные деятельностью человека, отмечаются не только среди насекомых.

Биолог К. Н. Благосклонов в одной из своих статей привел группу интереснейших фактов, о которых грех не упомянуть.

Гнезда умнейших и осторожнейших ворон раньше можно было найти лишь в сравнительно тихих уголках, для чего и опытному орнитологу нередко требовалось полдня. Теперь у всех на виду, даже у пересечения Ленинского и Университетского проспектов в Москве (где потоки машин, толпы людей, шум и гам), вороны подчас вьют гнезда: сообразили, очевидно,

что занятому москвичу не до них и что вообще в каменной громаде города он рад любой живности. Осмелели вороны настолько, что подпускают человека на несколько метров.

О граче теперь не всегда скажешь, что он «птица весенняя». Случалось и прежде — отдельные грачи оставались зимовать в большом городе. Но в шестидесятых годах такие случаи участились, а ныне в Москве обосновались уже многотысячные стаи.

Где может звенеть песнь жаворонка, как не над полем? Так было века и тысячелетия. Но новые времена — новые песни, в том числе и птичьи, умолкшие там, где поля в убийственных для жаворонка дозах были осыпаны ядохимикатами, и внезапно зазвеневшие средь городского шума. Теперь песню жаворонка можно услышать даже в Москве. Как и песни соловья, впрочем. Не подозревая, что к началу семидесятых годов соловей стал селиться в Москве, я не поверил своим ушам, когда однажды не слишком тихим городским вечером у меня под окном, в десяти минутах ходьбы от улицы Горького, рассыпалась соловьиная трель.

Все стереотипы насмарку! Извечные странники — перелетные птицы — по всей Европе делаются оседлыми горожанами. Отринув, казалось бы, самые стойкие нормы поведения и инстинкта, птицы пришли в шумный город, к порогу человека.

Посмотрим, однако, как и какой ценой те же птицы приспосабливаются к проявлениям цивилизации.

Тут стоит раскрыть работу другого биолога — В. Э. Якоби. Самолеты, особенно при взлете и посадке, стали так часто сталкиваться с птицами, что на это пришлось обратить самое серьезное внимание. На своей авиабазе Мидуэй американцы к этой проблеме подошли с «позиции силы», год за годом истребляя по 15—20 тысяч альбатросов. К удивлению решительных командиров, привычная тактика «огня и меча» не дала желаемых результатов.

Все, оказывается, очень и очень непросто. Орнитологическими исследованиями в СССР установлено, что столкновения птиц с самолетами учащаются во время сезонных перелетов, причем максимум приходится не на весенний период, а на июнь — октябрь. И что «коренные» обитатели аэродромов почти никогда с самолетами не сталкиваются. Гибнут залетные и молодняк, которому неопытность дорого обходится летом и в начале осеннего перелета. К концу перелета жертв уже немного — молодняк обучился. Поэтому и весной, на обратном пути, трагедий куда меньше, чем осенью: кто плохо приспосабливался, тот уже, в общем, отсеялся при прошлогодних испытаниях. Кстати сказать, выясняется также, что птиц возле ревущих и грохочущих аэродромов иной раз больше, чем в тихих и спокойных окрестностях.

Почему? Да потому, что вблизи аэродромов есть корм и убежище, там не стреляют, не шастают по гнездам и сравнительно редко используют ядохимикаты. Для птиц самолет — снаряд смертоубийственный; зато реактивные струи газов выдувают из травы насекомых — пользуйся! Минусы — шум, несвежий воздух — оказались для птиц существенно меньшими, чем плюсы. Только ли всего. Ведь даже из плохого можно извлечь пользу. Никакой лирики — все разыгрывается по жестким и непреложным правилам борьбы за существование.

Самолет оказался для птиц орудием слепого непреднамеренного отбора. Фактором эволюции...

Такими же факторами оказываются поезда и автомобили. Тут наше внимание, впрочем, не встревожено. Автомобиль не самолет, ему столкновение с птицей

ничем не грозит. Грозит оно птице. В одной только Дании, по подсчетам 1964—1965 годов, под колесами автомобилей погибло три миллиона птиц! Жертвой преимущественно стал молодняк...

Сколько же новых эволюционных факторов создал человек? Города, транспорт, ядохимикаты, просто химикаты, сбросы сточных вод, выбросы в атмосферу, распашка земель, вырубка леса, мелиорация, ирригация — всего и не перечислишь. Кое-чему — осушению и обводнению, например,— аналог в природе был. А вот те же ядохимикаты и самолеты — это новинка. Но жить-то ведь надо! Вот и приспосабливаются звери, пичуги, букашки. Ценой массовых жертв, само собой.

Век НТР, век ускоренного научно-технического прогресса и сказочного могущества человека? Да. Но еще и век поспешного приспособления природы к этому прогрессу, к этому могуществу. Приспособления не только на уровне зверюшек и травок. Масштаб куда шире! Об этом, в частности, говорит весьма интересная разработка географа и геохимика О. П. Добродеева.

Вкратце суть концепции ученого такова. Общеизвестна деликатная роль углекислого газа, даже небольшие количества которого выполняют в атмосфере роль «парниковой крыши», задерживая немалую часть теплового излучения планеты и не давая ему уйти в мировое пространство. Сейчас средняя температура земной поверхности равна 14° тепла, причем значительное увеличение углекислого газа в воздухе способно обратить Землю в жаровню, а уменьшение — в ледышку.

Вулканы непрерывно пополняли и пополняют воздух Земли углекислым газом. Почему же наша планета не стала палящей пустыней, как Венера? В этом,

считает О. П. Добродеев, заслуга живых организмов, прежде всего растений, которые связывают углекислый газ и частично хоронят его в толщах осадочных пород (внушительные пласты известняков, доломитов и мела — это, в сущности, и есть кладбища такой углекислоты). О мощности живого регулятора свидетельствует то, что сейчас в биосфере заключено вдвое больше углекислого газа, чем его содержится в атмосфере, где, кстати сказать, вес его в тоннах исчисляется цифрой с двенадцатью нулями.

Великим держателем углекислого газа является и Мировой океан, в водах которого он растворяется — до предела насыщения, естественно. Но между тремя партнерами — атмосферой, биосферой и гидросферой — нет и не может быть длительного равновесия — хотя бы потому, что спокойные времена геологической эволюции Земли сменяются бурными, горообразовательными, когда растет число вулканов и, следовательно, растет поступление углекислого газа.

Кстати, О. П. Добродеев напоминает: ботаники давно обратили внимание, что насыщение среды углекислым газом способствует произрастанию растений. Вообще фотосинтез идет наилучшим образом тогда, когда углекислого газа не 0,032 процента, как сейчас, а примерно 0,1. Не память ли это растений о прошлом, когда углекислого газа в атмосфере было больше, чем сейчас? Вполне возможно. Несколько десятков миллионов лет назад начался последний, альпийский этап горообразования. Исторгнутый вулканами углекислый газ укутал Землю, температура поднялась, и теплолюбивые растения распространились до приполярных широт. Но чем больше масса растений, тем сильней она поглощает и выводит из круговорота питательный газ. Пока вулканы действовали бурно, все было в порядке, и так длилось многие миллионолетия — вот почему растения привыкли не к теперешней, скудной, а к тогдашней, обильной концентрации углекислого газа. Настроились на роскошь, так сказать... Но постепенно активность недр стала замирать. Растения принялись тратить уже основной капитал, чем и подписали себе приговор.

Источив «парниковую крышу», они впустили на Землю стужу. С полюсов поползли ледники, и планета, наверно, оделась бы в белый саван, если бы система взаимосвязей не отрегулировала сама себя. Отступающая и гибнущая на обширных пространствах растительность стала освобождать при гниении и распаде связанный в ней углекислый газ. К тому же океан, чей объем из-за возникновения масс материкового льда сократился, теперь уже не мог держать прежнее, превысившее порог насыщения количество газа.

Маятник качнулся в обратную сторону. Взмах! Освобожденный углекислый газ начинает обогревать планету, фронт льдов катится назад, растительность спешит в наступление... И снова непозволительно расходует углекислый газ. Новая отмашка! Ледниковый период! Межледниковый! Снова ледниковый! Опять межледниковый! Пульс климата частит, как в лихорадке, счет фаз идет на тысячелетия...

Очередной приступ оледенения, судя по периодам амплитуды, должен был настичь человечество в неолите. И не настиг, видимо, потому, что человек-охотник к тому времени становится земледельцем и энергично начинает сводить леса. Расширение биосферы приостановлено, маятник уже не дает сильной отмашки.

Сократив за последние тысячелетия растительную массу Земли не менее чем на четверть, люди сделали то, что раньше делало оледенение. И таким образом, вполне возможно, предотвратили очередной приступ планетарной стужи.

Такова вкратце концепция О. П. Добродеева.

Выходит, не исключено, что Стокгольм, Копенгаген, Берлин, Ленинград, а то и Москва своим теперешним существованием обязаны давним пращурам, которые, сами того не подозревая, стали фактором геологической эволюции.

Однако всякая палка имеет два конца. В природе, очевидности вопреки, их может оказаться и больше. Раскроем другую научную работу — на этот раз палеонтологов Б. Б. Родендорфа и В. В. Жерехина. Она посвящена очень далекому прошлому и отвечает на кое-какие вопросы будущего.

Сейчас мировой палеонтологии довольно отчетливо удалось проследить эволюцию насекомых. Вывод первый: последние 40—50, а то и 60 миллионов лет она протекала медленно и плавно. Это явствует хотя бы из того, что в балтийских янтарях, которые десятки миллионов лет назад стали гробницей древних насекомых, палеонтологи видят, в общем, знакомые все лица... Практически все современные семейства

насекомых присутствуют и там. Даже на уровне родов половина древних, чей возраст 40—60 миллионов лет, благоденствует и по сей день.

А что в этом удивительного? Да, в общем, ничего, если забыть о потенциальной скорости эволюции тех же насекомых. В максимуме она такова, что новые виды могут возникнуть... сколько, вы думаете, времени на это потребуется? Вот биологическое становление «человека разумного» длилось едва ли не миллионы лет. Не то в мире всяких козявок, травок и даже мелких позвоночных. Тут для видовой трансформации хватит десяти лет! А порой и меньше. Ведь потенциальная скорость эволюции очень и очень зависит от частоты смены поколений. Ну, а уже упомянутая ранее тля дает в год шестнадцать поколений, чем, кстати, во многом объясняется ее устойчивость к воздействию ядохимикатов.

Как видим, в течение долгих десятков миллионов лет маховик эволюции малых существ раскручивался куда медленней, чем мог бы. Вывод очевиден: эволюция тех же насекомых была жестко зажата какими-то тормозами. А вот о млекопитающих данные палеонтологии говорят, что здесь маховик эволюции раскручивался быстро.

Какие же тормоза держали и держат эволюцию всевозможных букашек и травок? Пояснить, надеюсь, поможет такой пример. Участь «белых ворон» печальна не только в поговорке. Любой крылатый хищник при атаке нападает прежде всего на ту особь, которая чем-то — обликом или поведением — выделяется в общей массе (он не может бросаться «вообще на всех», ему нужен конкретный объект нападения, а уследить в мятущейся стае за неотличимой от других птицей не просто). И до тех пор, пока у тех же ворон останутся извечные их враги, судьба нетипичных особей малоперспективна. Изменятся условия существования,— тогда, быть может, дело обернется совсем иначе...

Еще пример. Иную гусеницу трудно отличить от какого-нибудь сучка. Конечно, и тут благодаря хотя бы случайным мутациям то и дело появляются гусеницы с не столь маскирующей окраской. Но у них, естественно, куда больше шансов быть склеванными, чем у «стандартных».

Такова примерная схема стабилизации видов, когда сама жизнь отсекает в них все «нетипичное». В устоявшихся сообществах (биоценозах) все виды так притерты друг к другу, так зависят от соседей, что для эволюции в столь жестко организованной и отрегулированной системе нет простора. Зато виды крупных позвоночных обычно связаны не с одним, а с несколькими биоценозами (со сколькими лесными и луговыми сообществами связан кормящийся олень!). Эволюция таких завоевавших относительную свободу существ мало зависит от одного конкретного биоценоза и, следовательно, мало на него влияет.

Теперь представим, что по биоценозам прокатилась некая ударная волна коренных изменений. В геологической истории планеты такое случалось не раз, и лучше всего изучены страницы так называемого «мелового потрясения». Миллионов сто лет назад флора Земли разительно изменила свой облик: повсеместно восторжествовали цветковые растения, которые окружают нас и поныне. Возникли они гораздо раньше, но до поры до времени существовали незаметно, как бы в подполье, а тут взяли да и вытеснили почти все прежние формы. Вопрос, почему эта «зеленая революция» разразилась, уведет нас далеко в сторону, мы его трогать не будем. Просто зафиксируем факт: разразилась!

Отдаленные последствия были сокрушительными. Вымерли, исчезли, будто их не было никогда, тогдашние «цари природы» — могучие динозавры, на гигантские скелеты которых мы сегодня взираем в музеях с почтительным изумлением. Вообще облик фауны, даже морской, переменился неузнаваемо. Но не сразу, не сразу. Настолько не сразу, что палеонтологи долго не могли уловить связь двух этих событий.

Луч нашего внимания весьма пристрастен. Исчезают тигры, плохо слонам, повывелись журавли — тут мы бьем тревогу (двадцатый век все-таки!) и спешим принять меры (или больше говорим о неотложности мер, так тоже бывает — на часах истории как-никак еще только двадцатый век...). А вот если что-то неладно с тысячами видов никому, кроме специалистов, не известных козявок и травок, то это проходит мимо общественного сознания. Между тем (цитирую Б. Б. Родендорфа и В. В. Жерихина): «Определяющую роль в органическом мире играют не наиболее крупные, а наиболее многочисленные организмы, имеющие наибольшую биомассу. Среди наземных животных ими были в мелу (и остаются сейчас) беспозвоночные, прежде всего насекомые».

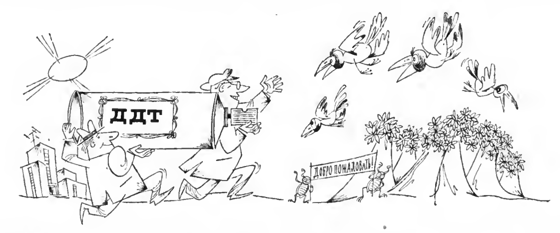
Для подавляющего большинства биоценозов смена растительности была землетрясению подобна. Распад связей, массовое вымирание видов — и вот тут эволюции открылся простор! Если в последующие 40—60 миллионов лет из каждой сотни семейств насекомых исчезло лишь одно, то за предшествующие 35 миллионов лет их состав обновился примерно на треть. Тридцать с лишним миллионов лет сотрясались все этажи биосферы, рушились верхние, пере-

стравались нижние, прежде чем сложились и пришли в равновесие новые биоценозы. Не только в мире крупных существ, но и в мире насекомых изменения оказались как количественными, так и качественными. Именно эпоха «мелового кризиса» вызвала к жизни «общественные» группы насекомых — сообщества пчел, ос, муравьев, термитов, которых прежде, по-видимому, не было.

Вот что такое новый мощный фактор эволюции в действии. Соскакивает со стопора пружина генетических изменений и нарастает, катится лавина формирования новых видов с заранее непредсказуемыми свойствами.

С заранее непредсказуемыми свойствами...

Но ведь наша деятельность как раз и стала новым мощным фактором эволюции! Да к тому же еще стремительным. Как медленно — более тридцати миллионов лет — разворачивалась в прошлом спираль экологического кризиса! А ныне... Давно ли мы рукоплескали ДДТ, которое начисто выкашивало ряды всяких вредных для нас насекомых? Прошли считанные годы, и уже появились мухи, которые спокойно разгуливали по горкам ДДТ... Так было потом с другими ядохимикатами и другими насекомыми. Сейчас устойчивость к ДДТ приобрела сотня с лишним видов членистоногих, одна половина которых является вредителями сельского хозяйства, а другая — переносчиками болезней. Между прочим, эти новые линии насекомых оказались невосприимчивыми и к тем ядохимикатам обычного типа, которые ранее к ним никогда не применялись.



Факт совсем из другой области: в США на грани исчезновения находится десятая часть тамошних видов растений. Как тут не вспомнить события меловой эпохи?

Не мешает вспомнить и о существах микроскопических, которые способны эволюционировать куда быстрей насекомых. О том, как стремительно они привыкают к антибиотикам, отчего науке срочно приходится изыскивать все новые средства их поражения. И этой гонке пока не видно конца, потому что новые препараты, естественно, возбуждают эволюционный ответ.

Эволюция микроорганизмов в прошлом прослеживается до сих пор плохо, так что здесь палеонтологи от умозаключений воздерживаются. Яснее с другими существами. И тут палеонтологи обращают внимание на очень серьезный факт. А именно: биоценозы надламываются скачком.

Простая диалектика, в сущности: обычный закон перехода количества в качество. Копятся медленные изменения, копятся,— а потом вспышка, взрыв, распад!

Так было в меловом периоде, так бывало и до него. Так может случиться и в наше время — тем острей и внезапней, что темпы природе мы задали головокружительные. Резюме палеонтологов: «При продолжении неконтролируемого воздействия человека на среду наступление биоценотического кризиса, подобного меловому или даже более глубокого, представляется неизбежным».

Выход один — надо ведать, что происходит во всех звеньях природы, и действовать соответственно этому. Ведь пока мы толком не знаем, за каким порогом вызванные человеческой деятельностью изменения в биоценозах становятся необратимыми. А знать это, как и многое другое, сейчас просто необходимо.

Проблемам взаимоотношений природы и общества уделил большое внимание XXV съезд КПСС. Так, в постановлении съезда об основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы указывается: «Совершенствовать прогнозирование влияния производства на окружающую среду и учитывать его возможные последствия при подготовке и принятии проектных решений». А раздел «Развитие науки» начинается знаменательными словами: «Основной задачей советской науки является дальнейшее расширение и углубление исследований закономерностей природы и общества...» И далее: «...развивать научные основы рационального использования и охраны почв, недр, растительного и животного мира, воздушного и водного бассейнов».

Проблема эта грандиозна, и решать ее надо как в масштабе нашей страны, так и в международном, ибо природа Земли едина.

Разрядка международной напряженности открывает тут хорошие перспективы. Число тех или иных международных соглашений о совместных исследованиях экологической ситуации, об охране природы перевалило за полтораста! И это сотрудничество крепнет. Ученые разных стран вместе думают о возможных эволюционных сдвигах в природе, о том, как их можно предотвратить. И, главное, начинают совместно действовать. Правда, пока робко.

Но хотите дальний прогноз? Рано или поздно появится какой-нибудь «Всемирный совет по делам эволюции». Ибо человек уже должен брать на себя управление эволюцией! Должен, как ни фантастично это звучит сегодня...

О. КОМОВ. **Космос. Ю. А. Гагарин и С. П. Королев.** (Бронза).

Цена 40 коп.

Индекс
71120

В НОМЕРЕ 4 1976

Борис ЮЗЕФОВИЧ. Рабочий завтрашнего дня . . . 2

ПРОЗА

Борис ВАСИЛЬЕВ. Ветеран. Рассказ . . . 6

Мусса БАТЧАЕВ. Элия. Повесть 14

Юрий ЯКОВЛЕВ. Балерина политотдела. Повесть 31

Зиновий ЮРЬЕВ. Быстрые сны. Фантастическая повесть. Продолжение . 58